

SWEDISH CONTRIBUTIONS TO THE FOURTEENTH
INTERNATIONAL CONGRESS OF SLAVISTS

Per Ambrosiani (ed.)

**Swedish Contributions to the
Fourteenth International
Congress of Slavists**

(Ohrid, 10–16 September 2008)



Umeå Studies in Language and Literature 6
Department of Language Studies
Umeå University 2009

Umeå University
Department of Language Studies
SE-901 87 Umeå
www.sprak.umu.se

Umeå Studies in Language and Literature 6

© 2009 The authors

Cover photograph: Sveti Zaum, Macedonia © 2008 Tora Hedin

Cover layout: Gabriella Dekombis, Print & Media

Printed in Sweden by Print & Media, Umeå 2009

ISBN 978-91-7264-814-2

Preface

The present volume—the second separate volume with Swedish contributions to the International Congresses of Slavists¹—includes seven articles by Swedish Slavists presented at the Fourteenth International Congress of Slavists, which was held in Ohrid, Macedonia, 10–16 September 2008.²

The articles cover the following topics: Russian historical parish names, Hunno-Bulgarian loanwords in the Slavic languages, linguistic variation in the spoken language of contemporary Czech television, seventeenth-century translations of German and Dutch phraseologisms into Russian, the history of the translation of the South Slavic folk ballad “The Wife of Hasan Aga” into Swedish, the image of women in the works of the Polish writers Natasza Goerke and Olga Tokarczuk, and the use of irony in Soviet totalitarian and anti-totalitarian discourse.

The Swedish Association of Slavists (Svenska slavistförbundet) wishes to express its gratitude to the Department of Language Studies at Umeå University for the decision to accept the present volume in the series “Studier i språk och litteratur från Umeå universitet / Umeå Studies in Language and Literature”.

The editor

¹ Cf. Englund Dimitrova, B. & A. Pereswetoff-Morath (eds.), *Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15–21 August 2003* (= Slavica Lundensia Supplementa 2), Lund 2003.

² Three Swedish contributions are published elsewhere, see Gustavsson, Sven, “Slavenski književni mikrojezici, regionalni jezici i manjinski jezici”, in Duličenko, A.D. (ed.), *Slavjanskoe jazykoznanie: pokidaja XX vek* (= Slavica Tartuensia VIII), Tartu: Universitas Tartuensis, Kafedra slavjanskoj filologii 2008, pp. 54–62; Törnquist-Plewa, Barbara, “Flygande universitetets återkomst. Underjordisk undervisning som en motståndsstrategi i det polska samhället”, in Dietsch, J., Karlsson, K-G., Törnquist-Plewa, B. & U. Zander (eds.), *Historia mot strömmen. Kultur och konflikt i det moderna Europa*, Stockholm: Carlsson 2007, pp. 191–211; Zorikhina Nilsson, Nadezhda, “Negated imperative in Russian and other Slavic Languages. Aspectual and modal meanings”, in Josephson, F. & I. Söhrman (eds.), *Proceedings of the Second Colloquium on Language Typology in a Diachronical Perspective held at Göteborg University*, May 18th–20th, 2006, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins (in preparation).

Contents

<i>Пер Амбросиани (Per Ambrosiani)</i> Историческая топонимика Новгородской земли: названия погостов Водской пятины	9
<i>Antoaneta Granberg</i> Classification of the Hunno-Bulgarian Loan-Words in Slavonic	19
<i>Tora Hedin</i> Codification and Language Norm in Czech—Examples from a Corpus Analysis of Spoken Language in Television	33
<i>Ингрид Майер (Ingrid Maier)</i> Как московские переводчики XVII в. справлялись с фразеологизмами иностранных источников? (На материале переводов с немецкого и нидерландского языков)	47
<i>Sonja Miladinović</i> Tri “Hasanaginice” na švedskom	67
<i>Małgorzata Anna Packalén</i> Nieobecna obecność: kobieca mimikra literackiej konwencji na przykładzie wybranych utworów Nataszy Goerke i Olgi Tokarczuk	81
<i>Людмила Пёппель (Ludmila Pöppel)</i> Ирония в тоталитарном и антитоталитарном советском дискурсе	93

Историческая топонимика Новгородской земли: названия погостов Водской пятины

1. Территориальное деление бывшего Новгородского княжества в пятины – Водская, Шелонская, Обонежская, Деревская, Бежецкая – известно с конца XV в.: она впервые засвидетельствована в писцовых книгах 1490–1505 гг. (ср. Баранов 1999:12–23). Сведения о территориальном делении Новгородской земли до 1490-х гг. малочисленны, но по всей видимости, уже до введения пятин существовало древнее разделение земли по более мелким территориальным единицам, погостам. Среди фактов, подтверждающих этот вывод, можно отметить, что границы пятин не совпадают везде с границами погостов: например, границей между Водской и Обонежской пятиной является река Волхов, тогда как большинство погостов вдоль этой реки охватывает территорию по обоим берегам ее.

Водская пятина, которая охватывала значительную область к северу и северозападу от г. Новгорода в современной Новгородской и Ленинградской областях и в республике Карелия, была разделена на шесть уездов: Новгородский, Ямской, Копорский, Ореховский, Ладожский, и Корельский, с 57 погостами (ср. приложение).¹ Самым важным архивным источником для изучения Водской пятины является писцовая книга 1499/1500 г., изданная уже в XIX в.²

В источниках засвидетельствована значительная орфографическая вариативность в написании названий погостов. Нормализованные К.А. Неволиным названия³ прежде всего основаны на написаниях, встречающихся в уже

¹ Среди 60 территориальных единиц, описанных К.А. Неволиным (Неволин 1853:120–137) в составе Водской пятины, 57 называются погостами. Исключениями являются *Ямское околородье* (Ямской уезд, ср. Неволин 1853:136, № 57), *Заверьяжье* (Новгородский уезд, ср. Неволин 1853:125, № 18), и *Малая Лопца* (Ладожский уезд, ср. Неволин 1853:124, № 14).

² Писцовая книга письма Дмитрия Васильевича Китаева и Никиты Семенова сына Губы Моклокова 7008 (1499/1500) г., доступная в изданиях НПК (том III, 1868 г.) и кн. М.А. Оболенского (Оболенский 1851–1852), ср. Баранов 1999:13.

³ Ср. Неволин 1853. В исследовательской литературе встречаются и другие нормализованные формы названий погостов. Например, в работе Селин 2003 (охватывающей только Новгородский и Ладожский уезды) *Иванский Переездский на Волхове погост* (Неволин 1853) упоминается как *Ивановский Переездовский погост* (Селин 2003:79, 231).

упомянутых писцовых книгах конца XV–начала XVI вв., но в более поздних источниках находим и другие написания: например, в материалах Новгородской приказной избы начала XVII в.,⁴ *Егорьевский Теребужский* погост упоминается как *Теребоский*, *Теребужский* и *Теребуский* погост; *Егорьевский Вздылицкий* погост встречается в формах *Вздылицкого*, *Вздылицукого*, *Вздылецкого* и *Вздылинского* погоста.

2. В состав названий большинства погостов Водской пятины входят два главных элемента, «церковное» название (А), и «нецерковное» название (Б). Кроме того, некоторые названия погостов содержат элемент локализации (Л), состоящий из предлога *на* или *в* вместе с названием реки и т. п., указывающем на географическое положение погоста.

Среди названий погостов, которые содержат как церковный, так и нецерковный элемент (двучленные названия) можно выделить два главных типа:

1. Тип АБ (42 погостов): *Никольский Будковский* пог., *Дмитриевский Городенский* пог., и др.

2. Тип АБ+Л (5 погостов): *Иванский Переездский на Волхове* пог., *Успенский Коломенский на Волхове* пог. (оба Новг.), *Никольский Толдожский в Чуди* пог., *Воздвиженский Опольский в Чуди* пог., (оба Ям.), *Ильинский Замозский в Бегуницах* пог. (Коп.).

В архивных источниках нередко из двучленных названий погостов опускается церковный элемент названия: например, *Ильинский Тигодский* погост встречается в форме *Тигодского* погоста, *Богородицкий Дягиленский* пог. называется только *Дягиленским* погостом, и т. д.

Кроме двучленных названий погостов встречаются также несколько типов, которые содержат только один главный элемент (одночленные названия). Можно выделить следующие типы:

1. Тип А+Л (6 погостов): *Петровский на Волхове* пог., *Спасский на Оредежи* пог., и др.

2. Тип Б (3 погоста): *Косицкий* пог., *Сабельский* пог.,⁵ *Каргальский* пог.

3. Тип Б+Л (1 погост): *Солецкий на Волхове* пог.⁶

⁴ Материалы Новгородской приказной избы от 1611–1617 гг. хранятся в составе фонда так называемого Новгородского Оккупационного Архива (НОА) в Государственном Архиве Швеции, Стокгольм, см. Löfstrand & Nordqvist 2005. В 2008 г. опубликован русский перевод основной части этой работы, см. НОАКС.

⁵ Ср. Селин 2003:79, 173 *Успенский Сабельский погост* (тип АБ).

⁶ Ср. Селин 2003:79, 255 *Рождественский Солецкий погост* (тип АБ).

Из одночленных названий иногда опускается элемент локализации: ср., например, НПК, стлб. 82, где под рубрикой «Погостъ Спаской на Ардеже» написан текст «Въ Спаскомъ же погостѣ великого князя волости и села и деревни [...]».

3.1. Церковные названия, как правило, являются производными от названий церквей, находящихся в главном селе погоста, «на погосте»⁷: ср., например, в *Спаском на Ардеже* пог. «На погостѣ церковь Спасѣ-Преображенѣ» (НПК, стлб. 82), в *Никольском Будковском* пог. «на погостѣ церковь Велики Никола» (НПК, стлб. 278), в *Егорьевском Вздылицком* пог. «на погостѣ церковь великий Георгій» (НПК, стлб. 861), и т. д. Самыми многочисленными являются «Никольские» погосты: в Новгородский уезд входят *Никольский Будковский* пог., *Никольский Передольский* пог., *Никольский Пидебский* пог.; в Ямской уезд *Никольский Толдожский в Чуди* пог.; в Копопорский уезд *Никольский Грезневский* пог., *Никольский Суйдовский* пог., *Никольский Ястребинский* пог.; в Ореховский уезд *Никольский Ижорский* пог., *Никольский Ярвосольский* пог.; в Ладожский уезд *Никольский с Городища* пог.; и в Корельский уезд входит *Никольский Сердвольский* пог.

В названиях некоторых погостов наблюдается определенная вариативность церковного элемента: например, в материалах НОА (начала XVII в.) *Богородицкий Дягиленский* погост⁸ последовательно засвидетельствован или как *Пречистенский Дягилинский* погост, или как *Дягилинский* погост. Возможно, вариативность основана на названии церкви села Дягилина: ср. НОА 1/16, 41 (1612 г.): «погостъ пречстенской дягилинской / на погосте на дягилне храм деревяной ржства прстеи / бдцы»; НОА 1/6, 121 (1615 г.): «на погосте на дягилне храм ржства прстеи бдцы». Схожая вариативность засвидетельствована еще в названиях *Пречистенского Городенского* погоста Ладожского уезда⁹ и *Покровского Озерецкого* погоста Копорского уезда.¹⁰

⁷ В источниках главное селение погоста (погоста-округа), как правило, называется только погостом (погост-место), ср., например, Селин 2003:45, который различает «Спасский погост на Ардеже» (погост-округ) от погоста-места: «сам Спасский погост-место».

⁸ Ср. Неволин 1853:132 «Богородицкой Дягиленской пог.», Көрпен 1867:26 «Bogorodizkoj Dagelinskoj» пог.

⁹ Ср. Неволин 1853:123. В нормализации Кэппена (см. Көрпен 1867:27–28) встречается одночленное название «Gorodenskoj» пог., тогда как Селин (2003:267) предпочитает вариант «Успенский Городенский погост». В материалах начала XVII в. засвидетельствовано название *Пречистенский Городенский* пог., ср. НОА 1/39:73 «Погостъ прчстенской городенской», но в отдельной книге НОА 1/25 встречается, по-видимому, также название *Успенский Городенский* погост, ср. НОАКС, стр. 31 (в описании Löfstrand & Nordqvist 2005:123, однако, упоминается только одночленное название погоста: «in Egor'evskoj, Tereboskoj, Ladskoj, Gorodenskoj and P'inskoj-Tigodskoj pogosts»).

¹⁰ Ср. НПК, стлб. 711 «Погостъ Покровской Озеретцкой / А на погостѣ церковь Покровъ Пречистые [...] Въ Покровскомъ же погостѣ», Көрпен 1867:26 «Pokrowskoj Oserezkoj» пог.

3.2. Среди нецерковных элементов названий погостов можно выделить, прежде всего, названия рек (гидронимы) и селений (ойконимы). Названия рек встречаются в названиях *Егорьевского Лузского* (р. Луга), *Ильинского Тигодского* (р. Тигода), *Богородицкого Врудского* (р. Вруда), *Никольского Суйдовского* (р. Суйда), *Никольского Ижорского* (р. Ижора) погостов и др.¹¹

Названия селений выступают в названиях *Никольского Будковского* (село Будково), *Введенского Дудоровского* (село Дудорово), *Андреевского Грузинского* (село Грузино) погостов, и др. Особенно можно отметить *Спасский Заречский* пог., в названии которого встречается ойконим *Заречье*, ср. НПК, стлб. 733 «д. Зарѣчье»; НПК, стлб. 734 «у Спаса на погосте въ Зарѣчьѣ».¹²

3.3. Элементом локализации в названиях погостов Водской пятины выступает, чаще всего, гидроним *Волхов*. Река Волхов являлась восточной границей Водской пятины, тем самым разделяя следующие погосты между Водской и Обонежской пятинами: *Антоновский на Волхове* пог., *Иванский Переездский на Волхове* пог., *Петровский на Волхове* пог., *Солецкий на Волхове* пог., *Ильинский на Волхове* пог., *Михайловский на Волхове* пог.¹³ Кроме того, в названии *Спасского на Оредежи* погоста встречается гидроним *Оредеж*. Остальные элементы локализации не мотивируются гидронимами: в названиях *Воздвиженского Опольского в Чуди* и *Никольского Толдожского в Чуди* погостов встречается этноним *чудь*, тогда как названия *Ильинского Замозского в Бегуницах* и *Никольского с Городища* погостов содержат элементы локализации производные от ойконимов.

4. После Столбовского мирного договора 1617 г. погосты Копорского, Ореховского и Корельского уезда находились в составе Швеции, где они составили две новые административные единицы: новую провинцию Ингерманландию (погосты Ямского, Копорского и Ореховского уездов [шв. *Jato*, *Caporie* и *Nöteborgs* лены]), и Кексгольмский лен (погосты Корельского уезда). Остальные погосты Водской пятины остались в России, и, несмотря на то, что в первой половине XVIII в. административное деление северозападной части России неоднократно менялось, названия погостов бывшего Нов-

В материалах НОА, однако, тот же самый погост выступает под названием *Никольского Озерецкого* погоста: «Погость николскои озерецкои / На погосте в озерах храм никола чюдотворец / разорен» (1/6:157 [1615 г.]).

¹¹ Еще в элементах локализации находим гидронимы *Волхов* и *Оредеж*, ср. 3.3, внизу.

¹² Ср. Körpen 1867:26 «Das Dorf Sarjetschje (Зарѣчье), an den Quellen der Oredesh [...]».

¹³ Среди погостов с территорией как в Водской, так и в Обонежской пятине лишь *Андреевский Грузинский* и *Никольский с Городища* погосты выступают без элемента локализации «на Волхове».

городского и Ладожского уездов продолжали использоваться в тех же формах до реформ административного деления России 1770-х гг.¹⁴

Под шведской властью погосты бывшей Водской пятины остались административными единицами Ингерманландии и Кексгольмского южного и северного ленов, и в шведских документах продолжалось использование русского термина *погост* (шв. *pogost*, *pågost*, и т. п.).¹⁵ Шведские названия погостов, однако, все являлись одночленными, бывшие двучленные названия сократились (ср. табл. 1, 2).

Как видно из таблиц, в шведских сокращенных названиях погостов сохранились, как правило, лишь нецерковные элементы: например, бывший *Никольский Толдожский в Чуди* погост сейчас назывался *Толдожским* (Tolduschi, Toldoskoï, Toldoschoi, и т.д.) погостом, бывший *Богородицкий Дягиленский* погост назывался *Дягилинским* (Dagilinschi, Deglinskoj, Däglinschoi, и т.д.) погостом, бывший *Воскресенский Соломянский* погост был известен под названием *Соломенского* (Salmis) погоста. Церковный элемент сохранялся только в новом названии *Спасского Городенского* погоста, переименованного в *Спасский* (Spaski, Spaschoy) погост, и *Григорьевского Льешского* погоста, который был переименован в *Григорьевский* (Grigorofschi, Gregorioffschoy) погост.

5. В настоящем обзоре названий погостов Водской пятины мы стремились показать, какие типы названий использовались для обозначения погостов Водской пятины как в русских, так и в шведских архивных источниках XVI и XVII вв. Целью дальнейших исследований будет более подробно изучение мотивации нецерковных элементов названий погостов Водской пятины и их связи с историей заселения российского Северо-Запада.

¹⁴ Ср. Селин 2003:62.

¹⁵ В Ингерманландии уже с 1620-х гг. формируются новые лютеранские приходы, но погосты остаются единицами нецерковного административного деления вплоть до 1696 г (ср. Forsström 1890:71, Väänänen 1987:32–36). Под шведской администрацией производились также некоторые изменения в составе уездов: *Егорьевский Радиинский* погост, который раньше был разделен между Ямским и Копорским уездом, в целом был переведен в Копорский уезд; *Никольский Ястребинский* и *Богородицкий Врудский* погосты были переведены из Копорского уезда в состав Ямского уезда; наоборот, *Никольский Толдожский в Чуди* погост был переведен из Ямского в Копорский уезд. Кроме того, в шведских документах *Каргальский* погост всегда указан в двух частях, западная (västerdel) и восточная (österdel). В Кексгольмском лене погостами назывались также новые лютеранские приходы, являющиеся частями старых погостов, ср. Жербин 1987:264; Katajala & Tšernjakova 1998:60, 62 (карты).

VB 1634	JB 1654	Неволин 1853
<i>Jamo lähn</i>		
Opolia p.	Oppollie p.	Воздвиженской Опольской в Чуди п.
Jastrebinski p.	Jastrobinschoy p.	Никольской Ястребинской п.
Wrudschi p.	Wrudischoy p.	Богородицкой Врудской п.
<i>Caporie lähn</i>		
Tolduschi p.	Tolldoschoy p.	Никольской Толдожской в Чуди п
Ratsinski p.	Ratzinschoy p.	Егорьевской Радшинской п.
Grigorofski p.	Gregorjoffschoy p.	Григорьевской Лѣвшской п.
Kargalschi Westerdeel p.	Kargall Wästredels p.	Каргальской п.
Kargalschi Östredel p.	Kargall Östredels p.	Каргальской п.
Samoschi p.	Samoschoy p.	Ильинской Замозской в Бегуницах п.
Dätilinschi p.	Dätelinschoy p.	Покровской Дятелинской п.
Kipinschi p.	Kipinschoy p.	Дмитрѣвской Кипѣнской п.
Dagilinschi p.	Däglinschoy p.	Богородицкой Дягиленской п.
Suiditschi p.	Swjidschoy p.	Никольской Суйдовской п.
Grijnsenschi p.	Grasinschoy p.	Никольской Грезневской п.
Orlinschoij p.	Orlinschoy p.	Спасской Орлинской п.
Filitzchi p.	Ezdilitschoy p.	Егорьевской Взылицкой п.
Saredschoij	Saretschoy p.	Спасской Зарѣцкой п.
–	Ossertzschoy p.	Покровской Озерѣцкой п.
<i>Nöteborgs Lähn</i>		
Loppis p.	Loppis p.	Егорьевской Лопьской п.
Jaroselschi p.	Jerosellschoy p.	Никольской Ярвосольской п.
Spaski p.	Spaschoy p.	Спасской Городенской п.
Kältis p.	Kiältis p.	Ильинской Келтушской п.
Korboselschi p.	Korbosellschoy p.	Воздвиженской Корбосельской п.
Kuiwas p.	Kuiwas p.	Ивановской Куйвошской п.
Inngerschoi p.	Ingerschoy p.	Никольской Ижорской п.
Duderofski p.	Duderhoffschoy p.	Введенской Дудоровской п.

Табл. 1. Шведские и русские названия погостов бывшего Ямского, Копорского и Ореховского уездов.

KLJ 1631	Неволин 1853
Sackula p.	Михайловской Сакульской п.
Rautus p.	Васильевской Ровдужской п.
Kurcki Jocki p.	Богородицкой Кирьяжской п.
Pomantsi p.	Ильинской Иломанской п.
Sordawala p. ¹⁶	Никольской Сердвольской п.
Salmis p.	Воскресенской Соломянской п.

Табл. 2. Шведские и русские названия погостов бывшего Корельского уезда.

Библиография

- Баранов, К.В. (ред.), 1999, *Новгородские писцовые книги 1490-х гг. и отписные и оброчные книги пригородных пожен новгородского дворца 1530-х гг.* (= Писцовые книги Новгородской земли, 1), Москва.
- Жербин, А.С. (ред.), 1987, *История Карелии XVI–XVII вв. в документах*, Петрозаводск – Йоенсуу.
- Неволин, К.А., 1853, *О пятинахъ и погостахъ новгородскихъ въ XVI вѣкѣ*, съ приложениемъ карты (= Записки императорскаго русскаго географическаго общества, VIII), С. Петербургъ.
- НОАКС = *Новгородский оккупационный архив 1611–1617 гг. Каталог. Серия I*, Великий Новгород 2008.
- НПК = *Новгородские писцовые книги*, изданные Археографической комиссией, том третий: Переписная оброчная книга Вотской пятины, 1500 г., первая половина, СПб 1868 [Новгородский, Копорский и Ямской уезд] (факс. изд.: Slavistic printings and reprintings, vol. 212/3, The Hague & Paris 1969).
- Оболенский, М.А., 1851–1852, Переписная окладная книга по Новгороду Вотской пятины 7008 г. (2-я половина), *Временникъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ*, кн. 11, Москва 1851 [Ладожский и Ореховский уезды]; кн. 12, Москва 1852 [Корельский уезд].
- Селин, А.А., 2003, *Историческая география Новгородской земли в XVI–XVIII вв. Новгородский и Ладожский уезды Водской пятины*, Санкт-Петербург.

¹⁶ Цитируется по документу «Rannsaking orpå de [...] Förgymbde Bönder ifrån Kexhollms Norre Låhn [...] till Rysslandh [...]» [Список крестьян, убежавших из Кексгольмского северного лена в Россию в 1647–1652 гг.], см. Saloheimo 1999:12–30.

- Forsström, P.A., 1890, *Kuvaus Inkerinmaan oloista ruotsinvallan aikana*, I, Sortavala.
- JB 1654 = *Ingermanlandz och Kexhollms Lähns Iordebok pro Anno 1654* [Писцовая книга Ингерманландии и Кексгольмского лена для 1654 г.]. Цитируется по работе Forsström 1890, стр. 72–73.
- Katajala, K. & I. Tšernjakova, 1998, Karjalainen ihminen uuden ajan alussa, Nevalainen, P. & H. Sihvo (ред.), *Karjala. Historia, kansa, kulttuuri*, Helsinki, стр. 55–91.
- KLJ 1631 = *Kexholms läns Iordebok 1631. Kexholms Närre Lähn* [Писцовая книга Кексгольмского северного лена для 1651 г.]. Цитируется по работе Жербин 1987, стр. 388–567.
- Körppen, P. von, 1867, *Erklärender Text zu der Ethnographischen Karte des St. Petersburger Gouvernements*, St. Petersburg.
- Löfstrand, E. & L. Nordquist, 2005, *Accounts of an Occupied City: Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611–1617* (= Skrifter utgivna av Riksarkivet, 24), Stockholm.
- Saloheimo, V. (ed.), 1999, *Inkerinmaalta ja Käkisalmen läänistä paenneita vuosina 1618–1655. Übersiedler aus Ingermanland und dem Bezirk Käkisalmi in den Jahren 1618–1655*, Joensuu.
- VB 1634 = *Wacke Booken aff Ingermannelandh Anno 1634* [Писцовая книга Ингерманландии для 1634 г.]. Цитируется по микрофильму, хранящемуся в Государственном архиве Финляндии, г. Хельсинки.
- Väänänen, K., 1987, *Herdaminne för Ingermanland. Vol. 1, Lutherska stiftsstyrelsen, församlingarnas prästerskap och skollärare i Ingermanland under svenska tiden* (= Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 538), Helsingfors.

Приложение: Погосты Водской пятины¹⁷***Новгородский уезд***

1. Андрѣвской Грузинской пог. (Неволин 1853:122, № 6).
2. Антоновской на Волховѣ пог. (Неволин 1853:121, № 4).
3. Григорьевской Кречневской пог. (Неволин 1853:125, № 17).
4. Дмитрѣвской Гдитцкой пог. (Неволин 1853:127, № 26).
5. Дмитрѣвской Городенской пог. (Неволин 1853:131, № 37).
6. Егорьевской Лузской пог. (Неволин 1853:126, № 21).
7. Иванской Переѣздъской на Волховѣ пог. (Неволин 1853:121, № 2).
8. Ильинской Тигодской пог. (Неволин 1853:127f, № 27).
9. Климетцкой Тесовской пог. (Неволин 1853:127, № 25).
10. Косицкой пог. (Неволин 1853:126, № 19).
11. Никольской Будковской пог. (Неволин 1853:126, № 23).
12. Никольской Передольской пог. (Неволин 1853:130, № 36).
13. Никольской Пидебской пог. (Неволин 1853:120f, № 1).
14. Петровской на Волховѣ пог. (Неволин 1853:121, № 3).
15. Сабельской пог. (Неволин 1853:126, № 20).
16. Солецкой на Волховѣ пог. (Неволин 1853:122, № 7).
17. Спасской на Оредежи пог. (Неволин 1853:126f, № 24).
18. Успѣнской Коломенской на Волховѣ пог. (Неволин 1853:121f, № 5).
19. Успѣнской Хрепельской пог. (Неволин 1853:126, № 22).

Ямской уезд

1. Воздвиженской Опольской в Чуди пог. (Неволин 1853:136, № 58).
2. Егорьевской Радшинской пог. (Неволин 1853:135, № 53).¹⁸
3. Никольской Толдожской в Чуди пог. (Неволин 1853:137, № 59).

Копорский уезд

1. Богородицкой Врудской пог. (Неволин 1853:136, № 56).
2. Богородицкой Дягиленской пог. (Неволин 1853:132, № 44).
3. Григорьевской Лѣвшской пог. (Неволин 1853:135, № 54).
4. Дмитрѣвской Кипѣнской пог. (Неволин 1853:132, № 45).
5. Егорьевской Взылицкой пог. (Неволин 1853:132, № 43).
6. Егорьевской Радшинской пог. (Неволин 1853:135, № 53).
7. Ильинской Замозской в Бегуницах пог. (Неволин 1853:133, № 48).

¹⁷ В названиях погостов сохраняется орфография работы Неволин 1853.

¹⁸ Кроме в Ямском уезде, часть *Егорьевского Радшинского* погоста находится также в Копорском уезде (№ 6).

8. Каргальской пог. (Неволин 1853:134f, № 52).
9. Никольской Грезневской пог. (Неволин 1853:131, № 40).
10. Никольской Суйдовской пог. (Неволин 1853:131, № 39).
11. Никольской Ястребинской пог. (Неволин 1853:136, № 55).
12. Покровской Дятелинской пог. (Неволин 1853:133, № 47).
13. Покровской Озерѣтцкой пог. (Неволин 1853:132, № 42).
14. Спасской Зарѣцкой пог. (Неволин 1853:131f, № 41).
15. Спасской Орлинской пог. (Неволин 1853:131, № 38).

Ореховский уезд

1. Введенской Дудоровской пог. (Неволин 1853:132f, № 46).
2. Воздвиженской Корбосельской пог. (Неволин 1853:129, № 32).
3. Егорьевской Лопьской пог. (Неволин 1853:124, № 15).
4. Ильинской Келтушской пог. (Неволин 1853:128, № 29).
5. Ивановской Куйвошской пог. (Неволин 1853:129f, № 33).
6. Никольской Ижорской пог. (Неволин 1853:128, № 30).
7. Никольской Ярвосольской пог. (Неволин 1853:129, № 31).
8. Спасской Городенской пог. (Неволин 1853:128, № 28).

Ладожский уезд

1. Егорьевской Теребужской пог. (Неволин 1853:123f, № 13).
2. Ильинской на Волховѣ пог. (Неволин 1853:122f, № 10).
3. Михайловской на Волховѣ пог. (Неволин 1853:122, № 9).
4. Никольской с Городища пог. (Неволин 1853:122, № 8).
5. Пречистенской Городенской пог. (Неволин 1853:123, № 11).
6. Федоровской Песоцкой пог. (Неволин 1853:123, № 12).

Корельский уезд

1. Богородицкой Кирьяжской пог. (Неволин 1853:137, № 60).
2. Васильевской Ровдужской пог. (Неволин 1853:133, № 49).
3. Воскресенской Городенской пог. (Неволин 1853:134, № 51).
4. Воскресенской Соломянской пог. (Неволин 1853, № 16).
5. Ильинской Иломанской пог. (Неволин 1853:130, № 35).
6. Михайловской Сакульской пог. (Неволин 1853:133f, № 50).
7. Никольской Сердвольской пог. (Неволин 1853:130, № 34).

Classification of the Hunno-Bulgarian Loan-Words in Slavonic

1 Introduction

While discussing linguistic contacts of Slavic and Altaic peoples, the term 'Altaic' covers the Huns, Avars and Bulgars¹. From the linguistic perspective, the term 'Altaic' covers the common background both of the Hunno-Bulgarian language and, most probably, that of the Avars. These languages have in common such features which united them with the Chuvash and Mongolian languages and distinguished them from Turkic. From the historical perspective, it is incorrect to call them 'Turkic,' since the first Turks appear in Europe long after the advent of Huns and Bulgars.

The early contacts between Slavic and Altaic peoples (Huns, Avars and Bulgars) have been the subject of both historical and philological studies (Curta 2006, Dobrodomov 1969, Gołąb 1992, 392–414, Granberg 2000, Kiparsky 1975, 61–64, Pritsak 1983, Szádeczky-Kardoss 1990, 207–225, Tăpkova-Zaimova 1966, Tăpkova-Zaimova and Pavlov 1993, 21–29). They have established both the geographic and chronological borders of these contacts, and they enable us to draw three main conclusions: (1) traces of such contacts are evident over a vast territory, from Pannonia in the West and the lower Danube in the South to the middle Dnepr in the East; (2) the data are insufficient to clearly distinguish Huns, Avars and Bulgars one from another; (3) the relationship of the 'local' Slavs and the Altaic 'intruders' from the Eastern steppes was a matter of evolution.

2 Chronology of the Slavic-Altaic contacts

The upper limit of Slavic-Altaic contacts is set without much dispute in the second half of the 4th c., when the Huns cross the Eastern frontier of Europe. But the concrete limits of Slavic-Altaic interaction vary either before or after the beginning of the 7th c., depending on the question whether it was the migration of Slavic peoples that led them to the definitive split into Eastern, Western and Southern Slavs. That may though be the lower limit of borrowing from Altaic into Slavic.

The contact between Bulgars and the Southern Slavs must, however, be set forward two more centuries, from the end of the 7th century up to the second half

¹ For the history of these peoples before leaving Asia, as well as for details of their migration to Europe, cf. Yü (1990, 118–150) and Szádeczky-Kardoss (1990, 206–228).

of the 9th century. After the beginning of the state formation process in Bulgaria in the 680s, the Bulgars and the part of the Southern Slavs, which was involved in the Bulgarian society, converted to Christianity in 864.

The questions that are important for the classification and the future study of the Hunno-Bulgarian loan-words in Slavonic are:

- 1) What is the chronology of the borrowings and in which way they were borrowed?
- 2) How the borrowings were adapted – phonologically, morphologically and semantically – to become Slavonic?

3 Sources for the study

Only loan-words with well established etymology have been included in this study. Loan-words which have an uncertain origin have been excluded from the classification in order to avoid conclusions build on doubtful material. The earliest Altaic loan-words in Slavic² were also excluded from the classification because of the great difficulty of analyzing their proper origin.

Only written sources in Slavonic have been used when excerpting loan-words for the study. The so called Protobulgarian inscriptions in Greek and Hunno-Bulgarian³ are not included because they do not contain texts in Slavonic.

4 Classification of the Hunno-Bulgarian loan-words in Slavonic

The classification presented below is not complete because of new Hunno-Bulgarian loan-words being discovered all the time as a result of new text studies or because of the new etymological research.

4.1 Classification according to the chronology of the borrowing

4.1.1 Hunno-Bulgarian loan-words borrowed by the Slavs prior to the formation of the distinguished groups of Eastern, Western and Southern Slavs

Igor Dobrodomov (1969, 67–69) discussed the possibility of studying early Hunno-Bulgarian borrowings in Slavonic as a distinct group. The latest borrowings belonging to this group were, according to I. Dobrodomov, dated before the dif-

² See for example the word **бѣикъ** 'bull' (Korš 1909, Baskakov 1979, 205, Setarov 1990), **коза** 'goat' (Setarov 1990, 33), **вѣтвь** 'branch' (Dobrodomov 1969), **пѣвѣть** 'model, testimony, mark' (Lvov 1962, 93, Vaillant 1957, 138) which Altaic origin has been discussed several times.

³ These ca 90 inscriptions, published by Veselin Beševliev (1979) are dated to the time of the First Bulgarian empire (7th–11th c.). Most of the inscriptions are in Greek, some are in Hunno-Bulgarian with Greek letters and the majority of them were made before the advent of Slavonic writing at the end of the 9th century.

ferentiation of the Slavic groups to Eastern, Western and Southern Slavs. What is still uncertain is the chronology of the latest borrowings from Hunno-Bulgarian, common for all Slavs.

There are, however, some historical arguments, essential for the chronology of these borrowings. The Goths and the Huns came into contact with the Slavs during the 3rd–4th centuries. Slavic tribes lived north of the Goths and Huns who, who in this way played the role of a ‘wall’ between the world of the Slavs and that of the Roman Empire (Curta 2006, 39–69, Gjuzelev and Dražev 1966, 12). The Goths and Huns blocked the historical migration of the Slavs up until the late 5th or early 6th century (Angelov 1981, 92). The period of borrowings from Hunno-Bulgarian, common for all Slavic languages, must therefore be updated up to the early 6th century.

The Hunno-Bulgarian loan-words were used in the earliest texts and books written in Slavonic, i.e. these words appeared in the scripts at the end of the 9th century. An important argument for defining them as *early* is that the borrowings exist in all Slavic languages. Both their phonology and their semantics can be traced back to the early common Slavic period, which continued up until the early 6th century. The following loan-words belong to this group:

(1) **БЛЪБАНЪ** ‘column, (funeral) statue, idol, στήλη’ (Clouston 1972, 333, Granberg 1997a, 55, Menges 1951a, 21–22). The Huns and the Bulgars raised such *bulvans* on graves or in memorial places. Some of these *bulvans* can today be seen in Bulgaria, Italy and Ukraine (Danil’čenko 1981, 17–26).

(2) **БЛЪГАРИНЪ** ‘Bulgar, Βούλγαρος’ (Granberg 1997a, 55–57, Pritsak 1954, 219).

(3) **КЛОБУКЪ** ‘Fur cap, tiara, κίδαρις’ (Granberg 1997a, 79–80, Vasmer 1986 II, 252). *Klobuk* was a specific kind of conical fur cap used by Huns and Bulgars. An example of *klobuk* can be seen in the miniature from the *Menology* of the Byzantine emperor Basil II (975–1025 AD) (Migne PG 117, 276–556).

(4) **КОЛИМОГЪ, КОЛИМАГА** ‘Tent, camp, σκηνηή’ (Granberg 1997a, 82–83, Miltenov 2006, 188, Vasmer 1986 II, 291). *Kolimog* was a kind of round tent which could be transported on wheels.

(5) **КРАГОУИЪ** ‘Sparrow-hawk, *Accipiter nisus*, ιεράξ’ (Granberg 1997a, 85, Setarov 1990, 56–57).

(6) **КРЪВАГЪ** ‘Mug, κερραμεύς, κεράμιον, ξεστός, τρύβλιον, urceus’ (Granberg 1997a, 86, Miltenov 2006, 189, Vasmer 1986 II, 341).

(7) **КЪНИГЪ** has many meanings in Slavonic: ‘Writing, book, ἀποστάσιον, βιβλίον, βιβλος, γράμματα, γραμματεῖον, γραφεῖον, γραφή, γραφική, δέλτιον, δέλτος, διαγράμματα, ἐπιγραφή, θεσπίσματα, ἱστορία, πραγματεία, συγγραφή, χαράγμα, libri’ (Granberg 1997a, 94–97, Vasmer 1986 II, 262–263). This loan-word meant also ‘the third stomach of ruminants,’ by analogy to the form and the shape of the codex,

and this meaning, besides the main meaning ‘book’, is still in use in many Slavic languages and dialects.

(8) **САΒΛΙΑ** ‘Sword, ἐγχειρίδιον’ (Clauson 1972, 782, Granberg 1997a, 105, Vasmer 1986 III, 541).

(9) **СЛОУНЪ** (Granberg 1997a, 109, Ivanov 1977, 153–157, Sevortjan 1974, 177–179, Vasmer 1986 III, 674–675).

(10) **ΧΟΡΑΓΓΥ** ‘1. Flag, standard, τάγμα, 2. Scepter, σκήπτρον, 3. Tribe, race, clan, σκήπτρον’ (Dobrev 1987, 96, Granberg 1997a, 116). *Chorong(y)* was the flag of the cavalry used by Huns and Bulgars.

(11) **ΥΕΚΑΝЪ** ‘Hammer, battle axe’ (Granberg 1997a, 119, Setarov 1990, 75, Vasmer 1986 IV, 324–325).

(12) **ΥΒΒΑΝЪ** ‘Mug, ξέστης, sextarius’ (Granberg 1997a, 121).

It is highly plausible that the title *joupaѠ* ‘župan’ belongs to this group of early Slavic borrowings from Hunno-Bulgarian (Menges 1959, 178).

4.1.1.1 History of the early Altaic-Slavic language contact

Hunno-Bulgarian language belongs to the Altaic family and it is commonly considered as language from the Western branch of the Turkic languages (Menges 1951b, 88–89). Omeljan Pritsak (1982) and Boris Simeonov (1982) argue that Hunno-Bulgarian should be classified as an East Altaic language of the Hunnic branch.

The Huns dominated Central Europe during the second half of the 4th century, after their victory over the Alans and the Goths (Tăpkova-Zaimova 1966, 11–15). In the early 5th century the Bulgars established certain political power in Pannonia and in the Western Carpathian valley. The Slavs were at that time living in an area stretching from Pannonia to the middle stream zone of the river Dnepr. Some groups among the Slavs were at the end of the 4th century in war with the Goths. The Huns entered the war as allies of the Slavs and the Goths suffered defeat (Jordanes, 88–89).

The early contacts between the Slavs and different political formations, where Altaic languages might have been spoken, should however not be overstated. The Huns and the Bulgars were nomads and stock-breeders and their natural milieu was the steppe. The Slavs were settled as farmers and took a different ‘ecological niche’ in Central and Eastern Europe.

The loan-words listed above are not that many – most are names for objects which the Slavs were unfamiliar with prior to their contact with Huns and Bulgars. The source language of these loan-words is an Altaic language of the Hun-

nic group, but it is quite difficult to make a distinction between Hunnic and Bulgarian at the time⁴.

4.1.2 Hunno-Bulgarian loan-words borrowed by the Eastern and Southern Slavs, but not by the Western Slavs

The distribution of loan-words from this group shows that they were borrowed later than those from the first group (4.1.1), but not later than the second half of the 7th century when the process of Bulgarian-Slavic state formation began on the Balkans.

This group is not homogeneous when it comes to the way of borrowing and it could be divided in three sections.

4.1.2.1 Loan-words borrowed into all South Slavic and East Slavic languages

The following loan-words belong to this section:

(13) **ѠѠѠѠѠ** ‘Pearl, μαργαρίτης’ is an Arabic loan-word in Hunno-Bulgarian, which was borrowed by the Slavs from Hunno-Bulgarian (Granberg 1997a, 54, Vasmer 1986 I, 168).

(14) **ѠѠѠѠѠѠѠ**, **ѠѠѠѠѠѠѠ** ‘Boyar, ἄρχων, μεγιστᾶνες, συγκλητικός, σύγκλητος, φίλος, οἱ τὰ πρῶτα φέροντες.’ *Boyla* was among the Bulgars a common title for magnates close to the ruler (Clauson 1972, 385, Granberg 1997a, 58).

(15) **ѠѠѠѠѠѠѠ** ‘Ring’ (Clauson 1972, 380, Granberg 1997a, 63).

(16) **ѠѠѠѠѠѠѠ** ‘Gift, sign, symbol, σημεῖον, σύμβολον’ (Clauson 1972, 338–339, Granberg 1997a, 63–64).

(17) **ѠѠѠѠѠѠѠ** ‘Mould, model, likeness, prototype, box, ἄγαλμα, αἰλός, δοχεῖον, εἰκών, θεός, θήκη, κολεός, περίβολος, σῶμα, τάλαντον’ (Clauson 1972, 584, Granberg 1997a, 75–78).

(18) **ѠѠѠѠѠѠѠѠ** ‘Blister, pustule; box, coffin; grave, tomb; stone hillock, ἀποθήκη, γλωσσόκομον, θήκη, κιβωτός, λάρναξ, σηκός, σωρός’ (Clauson 1972, 586–587, Granberg 1997a, 80–81, Vasmer 1986 II, 272–273).

(19) **ѠѠѠѠѠѠѠѠ** ‘Fable, μῦθος, μυθολογία’ was borrowed into Hunno-Bulgarian from an Iranian language and then borrowed from Hunno-Bulgarian into Slavonic (Granberg 1997a, 85, Vasmer 1986 II, 362).

(20) **ѠѠѠѠѠѠѠѠ** ‘Form, statue, pagan god, altar, ἄγαλμα, ἀνδριάς, βωμός, γλυπτόν, δαίμων, εἶδωλον, εἶδωλολάτρησ/-ία, Ἴνδαλμα, κίβδηλος, ξόανον, σέβασμα, στήλη, χαλκούργημα’ (Granberg 1997a, 88–91, Vasmer 1986 II, 416).

⁴ Even the language of the Avars, which also belonged to the Hunnic group, could be discussed as a possible source for the borrowings (Dobrodomov 1969).

- (21) **σανη** 'Rank, status, dignity, ἀξία, ἀξίωμα, ἀρχή, βαθμός, εὐπραγία, προκοπή, τάξις, τιμή, τόπος, φύσις' (Clauson 1972, 830–831, 833, Granberg 1997a, 105–107).
 (22) **вѣпaгъ** 'Bag, pocket, outer garment' (Granberg 1997a, 121–122, Vasmer 1986 IV, 146–147, 373–374).

4.1.2.2 Loan-words with limited diffusion in the South Slavic and the East Slavic languages

These loan-words were mostly used in medieval texts and books of Bulgarian and Russian origin.

- (23) **бaгpъ** 'Purple regalia, πορφύρα' was borrowed into Hunno-Bulgarian from Arabic (Clauson 1972, 317, Granberg 1997a, 48–49).
 (24) **бaлxъvни** 'Craftsman, τέκτον, *faber*' (Granberg 1997a, 57, Vasmer 1986 I, 174).
 (25) **бoхмитъ** 'Mohammed', refers only to the prophet of Allah (Granberg 1997a, 60, Moravcsik 1958 II, 200–203), only in texts of Russian origin.
 (26) **бpaυиna** 'Silk brocade, σηρικόν' (Clauson 1972, 357–358, Granberg 1997a, 60).
 (27) **дoхътopъ** 'Pillow, προσκεφάλαιον' (Clauson 1972, 899, Granberg 1997a, 67–68).
 (28) **кpъvни** 'Smith, goldsmith, χαλκεύς' (Clauson 1972, 647, Granberg 1997a, 87).
 (29) **кoрpѣлкъ, кoрpилъ** 'Prototype, mould, τύπος' (Clauson 1972, 736, Granberg 1997a, 92).
 (30) **кълыгъ** 'Parasite, leech, παράσιτος' (Clauson 1972, 620–621, Granberg 1997a, 94).
 (31) **oнmиnъ** 'Soldier, στρατιώτης, στρατός' (Granberg 1997a, 102, Vasmer III, 126–127).
 (32) **caмъvни** 'Steward, counsellor, μειζότερος, ὁ ἐπὶ τῆς οἰκίας, οἰκονόμος' (Clauson 1972, 830–831, 833, Granberg 1997a, 105). The official who was *samči* participated in the most important of the khan's embassies. He may have been a specialized counsellor, e.g. one conversant in foreign languages and scripts.
 (33) **caпoгъ** 'Leather shoe, sandal, boot, πέδιλον, ὑπόδημα' was borrowed into Hunno-Bulgarian from Mongolian (Clauson 1972, 786, Granberg 1997a, 107–108). Chlebnikova (1988, 244–253) has studied the footwear found at the excavations in and around the city of Bolgar and the techniques employed in its production.
 (34) **coкaυни** 'Cook, μάγειρος, ὀφιοποιός' (Granberg 1997a, 110), **coкaлъкъ, coкaлo** 'Kitchen, μαγειρεῖον' (Granberg 1997a, 109–110, Vasmer 1986 III, 708).
 (35) **cyннъ** 'Turret, tower, πύργος' (Clauson 1972, 834, Granberg 1997a, 111–112).
 (36) **vигoтъ** 'Bearer of arms, aide, σπαθάριος, *μεγανοша*' (Granberg 1997a, 119–120). *Čigat* was the title of the courtier following the ruler and bearing his sword.

(37) **врьтогъ** ‘Bedchamber, house, palace, θάλαμος, νυμφών, παστάς’ was borrowed in Hunno-Bulgarian from Persian (Granberg 1997a, 120–121, Rusek and Račeva 1982, 27–34).

(38) Hunno-Bulgarian suffix **-vни** was borrowed in Slavonic and used for building new *nomina agentis* words like: **зѣдъvни** ‘builder, οἰκοδόμος’, **нконожьгъvни** ‘baker of (ceramic) icons, εἰκονοκαύτος’, **клепъvни** ‘smith’, **корабъvни** ‘shipbuilder, sailor, ναυπηγός, ναύτης’, **кораблѣплѡвъvни** ‘navigator’, **кръмъvни** ‘(spiritual) helmsman, κυβερνήτης’, **потикъvни** ‘double dealing’ and ca 20 other words.

4.1.2.3 Loan-words registered only in Slavonic texts of Bulgarian origin

To this section belong loan-words which were used in texts produced in medieval Bulgaria:

(39) **комърогъ, гоморъ, гомръ** ‘Vessel for water, strongbox, money belt, κεράμιον, ὕδρία’ was borrowed into Hunno-Bulgarian from an Iranian language (Granberg 1997a, 83, Rusek and Račeva 1982, 27–34). The Slavonic manuscripts transmit various spellings of the loan-word: **комърогъ, коморогъ, комогрогъ, комрогъ** and **коморъгъ**.

(40) **коръмъ** ‘Abdomen, belly, stomach, κεκρούφαλος’ (Clauson 1972, 661, Granberg 1997a, 84–85).

(41) **кръкъга** ‘Car (disambiguation), litter (vehicle) (von Arnim 1956, 45–46).

(42) **кръвагъvни** ‘Potter, κεραμεύς’ (Granberg 1997a, 86–87).

(43) **кълоуъvни** ‘Prophet, guide, προφήτιος, ὀψίκιος’ was a shaman or wizard, who made sacrifice in time of peace and war. According to Clauson (1972, 617) the title was first recorded in 923 by Ibn Fadlan, but the title *qoluwir* κολοβρος was recorded in Bulgarian inscriptions from the 8th century (Beševliev 1979, 56–58, 64–65, inscription 68).

(44) **тѣтѣгъ** ‘Litter (vehicle)’ (Reinhart 1995, 135–142).

(45) **хръзанъ** ‘Whip, scourge, φραγγέλλη’ was borrowed in Hunno-Bulgarian from some Iranian language and has been registered even in Greek χαρζάνιον ‘scourge’ (Granberg 1997a, 117, Vasmer 1986 IV, 277).

(46) **vни** ‘Brew, tea’ was discovered in the text of **врауъба коуъvнина** ‘The treatment of Cosma’ (Dobrev 1989–90, 168–171, Granberg 1997a, 118).

(47) **врьгоу(бъгла), врьгъна** ‘Črigu Boyla’ was the title of the second *boyla* at the Bulgarian khan’s court. He was in command of 455 coats of mail, 540 helmets of one and 854 of another type, and 427 breastplates, i.e. five regiments of heavy and light cavalry (Beševliev 1979, 63, inscription 53, Granberg 1997a, 120).

(48) **патъхоуъvница** ‘Hospice, ξενοδοχία’ (Clauson 1972, 882, Granberg 1997a, 122).

4.1.3 Discussion

It is difficult to establish whether the loan-words from the second group – (13–22) and especially (23–38) – were borrowed directly, through oral contact with the Hunno-Bulgarian language, or if they were borrowed only by the Southern Slavs and then used in the first texts in written Slavonic. The Hunno-Bulgarian loan-words could then have been distributed to other Slavic groups by way of the books written in Slavonic. It is quite plausible that loan-words known only from written sources could have been borrowed via the script while others, registered in different Slavic dialects, could have been borrowed directly.

The end of the 4th century and the beginning of the 5th century saw the Huns move towards the lower stream zone of the Danube River, while part of the Slavs began to move to Pannonia and Dacia. The so called Pannonian Slavs became part of a political union, under Hunnic leadership, also including the Pannonian Bulgars (Angelov 1981, 92). The death of Attila and the following collapse of the Hunnic political union in the late 5th century meant that the Slavs could establish their own society on the territories south of the Carpathian Mountains, and even south of the Danube River. The Slavs, together with the Bulgars, started their attacks on the Balkans, from the first decennia of the 6th century. Several Byzantine historians mention the joint attacks of the Slavs and the Bulgars (Tăpkova-Zaimova 1966, 58 ff.) e.g. the attack of 558, when the Bulgars called Kutriguri, together with the Slavs advanced as far as the walls of Constantinople.

The wars between the Slavs and the Avars started at the middle of the 6th century. This conflict affected mostly the Pannonian Slavs, but most important is that both the Slavs and the Bulgars became a part of the khaganate of the Avars (Tăpkova-Zaimova 1966, 5–60). Byzantium tried to turn the Slavs against the Avars, but the two became instead allies against Byzantium in the last decennia of the 6th century. The joint attacks of the Avars, Slavs and Bulgars against Byzantium continued during the 7th century as well. A combined Avar, Slav and Bulgar army, under Avar leadership, attacked Thessalonica in 618 and in 626 besieged Constantinople. A Bulgar group (Khuber's people), together with some Slavs (*Dragoviti* and others), crossed the Danube river in the late 680s and settled in the territory near Bitola.

It is obvious that the Eastern Slavs, but still more the Southern Slavs, had active contacts with Avars, Huns and Bulgars for a rather long period, stretching from the 5th century up until the 7th century. These contacts resulted in words borrowed from at least one, but most probably several languages of the Hunnic group.

4.2 *Classification according to the adaptation and usage of the borrowings into Slavonic*

The main criteria for the classification of the borrowings are their phonetic, morphological and different semantic changes. All these changes are due to the 'slavisation' of the borrowings. Only the development of new semantics of borrowed words from Hunno-Bulgarian will be discussed below.

4.2.1 Loan-words with low level of adaptation and low frequency

Part of the borrowings was only occasionally used and did never become part of the active vocabulary in Slavonic. These loan-words did not build derivatives or compounds. They usually only have one meaning and they are, as a rule, not preserved in modern Slavic languages and dialects. Representatives of this kind of borrowings are: *ДОУХЪТОРЪ* (27), *КОУРЪЛАКЪ* (29), *КЪЛЪИГЪ* (30), *ХРЪЗАНЪ* (45), *ПАТЪХОУАЛЬНИЦА* (48). These words are most related to the political elite, the matter of religion, the organization of the army and the society, as well as to different armor. It is therefore quite common that these loan-words were later replaced by others when texts were copied and redacted (Tichova 1987, 307).

4.2.2 Loan-words with a high level of adaptation and relatively high frequency

The loan-words from this group were more frequent, they developed several meanings and had derivatives and compounds. These borrowings became an active part of the vocabulary in Slavonic.

КЪНИГЪ (7) for example had at least nine different meanings: 'alphabet, chapter (of a book), The Bible, board for writing, incunabula, document, text, letter' and 'inscription' (Granberg 1997a, 94–97, 1997b, 31–40). There were also several derivatives from *КЪНИГЪ*: *КЪНИЖЪНИКЪ* 'copyist', *КЪНИЖЪНЪ* adj., *КЪНИЖИКЪ* 'books', *КЪНИЖИЦА* 'booklet'.

КОУМИРЪ, *КОУМИРЪ* (20) also belongs to this group. It had at least eight derivatives and six compounds, e.g.: *КОУМИРЪНИЦА* 'pagan temple', the adjectives *КОУМИРЪСКЪ*, *КОУМИРОВЪ* and *КОУМИРЪНЪ*, *КОУМИРОСЛОУЖЕНЪКЪ* 'idolatry', *КОУМИРОСЛОУЖИТЕЛЬ* 'idolater', *КОУМИРОСТАИ* 'eat the food of idolatry'.

БАГРЪ (23) had at least 16 derivatives, including the verbs *БАГРИТИ* - *БАГРОВАТИ* 'color'.

4.2.3 Discussion

The semantic of the borrowings changed when they became part of the Church Slavonic and the texts written or translated after the conversion to Christianity.

The Hunno-Bulgarian loan-words became in some occasions synonyms to Slavic words and in a few occasions even to Greek words in the Slavonic vocabulary. An interesting example is the loan-word **БЛЪВАНЪ** (1) which could mean ‘column’ and ‘statue’. Its synonym for the meaning ‘statue’ was another Hunno-Bulgarian word **КАПЪ** (17) which could even mean ‘sheath, quiver, scabbard, box’ and ‘(an image of a) god’. The derivate **КАПИШТЕ** could also mean ‘statue’ and ‘pagan temple’ and functioned as synonym of **БЛЪВАНЪ** and **КАПЪ** in the meaning ‘statue’. One more Hunno-Bulgarian loan-word, **КОУМИРЪ** (20) ‘pagan god’ and ‘statue’ was used as synonym of **БЛЪВАНЪ**, **КАПЪ** and **КАПИШТЕ** in the meaning ‘statue’. All these words, **БЛЪВАНЪ**, **КАПЪ**, **КАПИШТЕ** and **КОУМИРЪ**, functioned as synonyms of the Slavic words **ОБРАЗЪ** and **ПОДОБЬЕ** and to the Slavonic loan-word from Greek **ИДОЛЪ**.

5 Conclusions and discussion

A more precise periodization of Slavic-Altai contacts is important for historical studies. The study concerns the early borrowings from Altaic into Slavic, which means that their dating can be hardly more than relative in the widest possible sense. The introduction of literacy among the Slavs coincides with the lower limit of Slavic-Altai contacts; the attestation of borrowings in texts written in Slavonic from the late 9th century onward is no more than an attestation after the fact.

According to the chronological criteria the Hunno-Bulgarian loan-words in Slavonic could be divided in two groups, early borrowed loan-words (4.1.1), common for all Slavic languages (1–12) and later borrowed loan-words (4.1.2) with more restricted distribution in the Slavic languages (13–48).

There are of course significant differences in the diffusion of Altaic loan-words in the Slavic languages. The attestation of such words in all, or almost all, Slavic languages has been used in order to argue for their greater antiquity (Gołab 1992, 400–409). But the analysis of such borrowings yields reliable chronological indications only in few cases. In most cases it remains uncertain whether these are true pre-literary borrowings, or whether their diffusion belongs to a later inter-Slavic interaction, including the diffusion of texts (Granberg 1996b, 2000).

According to the results of the adaptation of the Hunno-Bulgarian loan-words in Slavonic two distinct groups could be established. The first group (4.2.1) consists of borrowings with low level of adaptation and low frequency in the Slavonic texts. These loan-words did not build any derivatives or compounds and did not develop new semantic. To the second group (4.2.2) belong loan-words with higher level of adaptation and relatively high frequency in Slavonic. The borrowings became part of the active Slavonic vocabulary and they developed new meanings and built derivatives and compounds.

It might be more productive to take a step back from the dating features of the Altaic loan-words in general in Slavic and give more consideration to their semantics. We of course find terms from the sphere of culture and religion (БЪЛЪВАНЪ ‘[ritual] column, idol, tombstone’, КЪНИГЪ ‘book’, ТЪЛЪМАУЪ ‘interpreter, translator’, ХОРЖЪГЪ ‘[cavalry] standard’), warfare and social organization (ЖОУПАНЪ title, САБАЛА ‘sabre’, ТЪМЪ ‘ten thousand, countless’, УКАНЪ ‘mace, hammer’), architecture and transport (КОЛИМОУЪ ‘tent’, ШАТЪРЪ ‘tent, pavilion’, ТЕТЕГЪ ‘litter’), household objects (УАША ‘mug’, УЪВАНЪ ‘vessel, jug’). Most of them would seem to designate phenomena unknown in Slavic culture.

References

- Angelov, Dimităr. 1981. *Образование на българската народност*. Sofia.
- von Arnim, Bernd. 1956. “Urbulgarisch кълубръ ~ κουλούβροϋς”. *Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag*. Wiesbaden: Otto Harrasowitz, pp. 45–46.
- Baskakov, Nikolaj A. 1979. *Russkie familii tjurkskogo proischozdenija*. Moscow.
- Beševliev, Veselin. 1979. *Pärvobälgarski nadpisi*. Sofia: Nauka i izkustvo.
- Chlebnikova, Tamara A. 1988. “Koževnoe delo”. *Gorod Bolgar. Očerki remeslennoj dejatel’nosti*. Moscow, pp. 244–253.
- Clauson, Sir Gerard. 1972. *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*. Oxford: Clarendon Press.
- Curta, Florin. 2006. *Southeastern Europe in the Middle Ages 500–1250*. Cambridge University Press.
- Daničenko, K. 1981. “Bolgarskie toponimy v italii”. *Balkansko ezikoznanie XXIV*, kn. 4, pp. 17–26.
- Deleva, Antoaneta K. 1996b. “Prabälgarskite zaemki v starobälgarskija ezik kato material za predpismenata istorija na bälgarskija ezik”. *Medievistični izsledvanija v pamet na Pejo Dimitrov. Šumen*, pp. 119–129.
- Deleva, Antoaneta K. 1997a. *Prabälgarski zaemki v starobälgarskija ezik. Mehanizmi na ezikovata adaptacija*. Disertacija. Sofijski universitet ‘Sveti Kliment Oxridski’, Sofia.
- Deleva, Antoaneta K. 1997b. “Känigy – proizvod i značenie na dumata”. *Preslavska knižovna škola 2. Šumen*, pp. 31–40.
- Deleva, Antoaneta K. 2000. “Prabälgari i prabälgarski zaemki (värchu material ot starobälgarskite pismeni pametnici”. In *Acta Paläoslavica*. Vol. 1, edited by Margarita Mladenova. Sofia, pp. 109–115.
- Dobrev, Ivan D. 1987. *Starinni narodni dumi*. Sofia.
- Dobrev, Ivan D. 1989–1990. “A new collection of Slavonic manuscripts from the Sinai peninsula”, rec. (Ioannis C. Tarnanidis, *The Slavonic Manuscripts Discovered*

in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988). *Cyrillo-methodianum* 13–14, pp. 168–171.

Dobrodomov, Igor' G. 1969. "Iz bulgarskogo vklada v slavjanskich jazykach. I." *Ėtimologija* 1967. Moscow.

Gjuzelev, Vasil and P. Dražev. 1966. *Slavjani i prabalgari v našata istorija*. Sofia.

Gołąb, Zbigniew. 1992. *The Origins of the Slavs. A Linguist's View*. Columbus: Slavica.

Granberg 1996, 1997a, 1997b, 2000 – see Deleva.

Ivanov, Vjačeslav. 1977. "Nazvanie slona v jazykach Evrazii". *Ėtimologija* 1975, Moscow, pp. 153–157.

Jordanes. 1882. *De origine actibusque Getarum*. Monumenta Germanie Historica, ser. Auctores Antiquissimi, vol. V. 1. Berlin, pp. 1–200.

Kiparsky, Valentin. 1975. *Russische Historische Grammatik*, 3. Heidelberg: Carl Winter.

Korš, Fedor E. 1909. "O nekotorych bytovych sloвах, zaimstvovannyh drevnimi slavjanami iz tak nazываемых uralo-altajskich jazykov". *Sbornik v čest' 70-letiju G. N. Potanina*. St. Petersburg.

L'vov, Andrej S. 1962. "Staroslavjanskoe pečat' – pečat'ljati". *Ėtimologičeskie issledovanija*, 2. Moscow, pp. 93–103.

Menges, Karl G. 1951a. *The Oriental Elements in the Igor-Song* (= Monographs/Supplement of Word 7). New York.

Menges, Karl G. 1951b. "Altaic elements in the Protobulgarian inscriptions". *Byzantion* 21, nr 1, pp. 85–118.

Menges, Karl G. 1959. "Schwierige slawisch-orientalische Lehnbeziehungen". *Ural-Altäische Jahrbücher* 31, pp. 177–190.

Migne, Jacques-Paul. 1854–1899. *Patrologiæ græcæ et latinæ cursus completus*. Seria Latina 1854–1890, Seria Græca 1857–1899. Paris.

Miltenov, Javor. 2006. *Dialozite na Psevdo-Kesarij v slavjanskata räkopisna tradicija*. Sofia: Avalon.

Moravcsik, Gyula. 1958. *Byzantinoturcica*, I–II. Berlin.

Pritsak, Omeljan Yosypovič. 1954. "Der Name Avitoxolä". *Ural-Altäische Jahrbücher* 26, pp. 190–220.

Pritsak, Omeljan Yosypovič. 1982. "The Hunnic Language of the Attila Clan". *Harvard Ukrainian Studies* 6, no. 4, pp. 428–476.

Pritsak, Omeljan Yosypovič. 1983. "The Slavs and the Avars". *Gli Slavi occidentali e meridionali nell'alto medioevo*. Spoleto, pp. 353–435.

Reinhart, Johannes. 1995. "(Alt)kirchenslavisch *tetegъ* 'Sänfte'". *Wiener slavistisches Jahrbuch* 41, pp. 135–142.

Rusek, Jerzy and Marija Račeva. 1982. "коморогъ, комрогъ – starinnoe nazvanie v bolgarskom jazyke". *Balkansko ezikoznanie* 25/2, pp. 27–34.

Setarov, Dževat S. 1990. *Nazvanija životnyh v russkom jazyke. Ètimologija istinných, sporných i mnimých tjurkizmov*. Vilnius.

Sevortjan, Ervand V. 1974. *Ètimologičeskij slovar' tjurkskix jazykov. Obščetjurkskie i mežtjurkskie osnovy na glasnye*. Moscow.

Simeonov, Boris. 1982. "K voprosu o proischoždenii i ètničeskoj prinadležnosti prabolgar". *Balkansko ezikoznanie*, 25/3, pp. 52–58.

Szádeczky-Kardoss, Samuel. 1990. "The Avars". *The Cambridge History of Early Inner Asia*. Edited by Denis Sinor. Cambridge: University Press, pp. 206–228.

Tăpkova-Zaimova, Vasilka. 1966. *Našestvija i etničeski promeni na Balkanite prez VI–VII v*. Sofia.

Tăpkova-Zaimova, Vasilka and Plamen Pavlov. 1993. "Severnite 'varvari' i Černomorieto". *Bălgarite v Severnoto Pričernomorie*, 2. Veliko Tărnovo, pp. 21–29.

Tichova, Marija. 1987. "Zamjana na prabălgarskite dumi v Rimskija pate-rik". *Godišnik na Sofijskija Universitet, Naučen centăr za slavjanovizantijski proučvanija*. Sofia.

Vaillant, André. 1957. "Problèmes étymologiques". *Revue des études slaves* 34, pp. 136–143.

Vasmer, Max. 1986. *Ètimologičeskij slovar' russkogo jazyka*, 1–4. 1986–1987, Moscow.

Yü, Ying-Shih. 1999. "The Hsiung-nu". *The Cambridge History of Early Inner Asia*. Edited by Denis Sinor. Cambridge: University Press, pp. 118–150.

Codification and Language Norm in Czech — Examples from a Corpus Analysis of Spoken Language in Television

This paper deals with the language situation in contemporary Czech. The Czech language differs from other Slavic languages in that it has two central variants, or linguistic layers: a higher style for formal speech and a lower one for informal conversation.¹ A stylistic variation between formal and informal situations is found in most languages, but the difference is so great in Czech that linguists tend to speak of a situation similar to diglossia. This means that there are two different languages or language variants, which are used in different situations. The choice between them depends on a number of linguistic, cultural, social and other factors. The variants even have their own designations: *obecná* and *spisovná čeština* (hereafter referred to as Common Czech/CC and Standard Czech/SC). In the post-Communist period, questions concerning stylistic layers in Czech have received more attention in language research than was previously the case.² All viewpoints are represented, ranging from the view that CC is the genuine native language to the view that it is only one of many variants of substandard language and that SC should instead function in all situations. However, research has primarily concerned definitions of the different variants (the Czech varieties) and issues of language policy. There have been far too few comprehensive studies of specific discourses (as noted by Hajičová & Schmiedtová 2007).

Much of the debate concerning the Czech varieties focuses on attitudes towards codification and language norms (see Cvrček 2006). In dealing with issues of language planning or attitudes towards the norm, as well as definitions of the Czech varieties, standpoints of Czech linguistics continue to vary. The debate in *Slovo a slovesnost* and *Naše řeč* of recent years has been vivid (see Čermák/Sgall/Vybíral,

¹ The situation is somewhat more complicated, as there are dialectal differences, mainly in Moravia. A recent study of the Czech varieties and their relations to Moravian dialects is Wilson 2007.

² Important milestones are *Čeština bez příkras* (Sgall & Hronek 1992), *Variation in language* (Sgall et al. 1992) and *Varieties of Czech* (Eckert 1993). Several conferences on spoken language and the role of SC have been held since 1990. František Čermák has also published several works on CC.

2005, Oliva 2005, Kořenský 2005, Čermák/Sgall/Vybíral, 2006, Adam 2007 etc.). The discussion of acceptance of groups of CC forms in the standard and the purpose of codification is indeed very much alive; the question is whether it should reflect actual language usage or serve as a normative guide. My analysis suggests that some elements in the Czech codification reflect a normative view on grammar. These results can be seen as reflection of the discrepancy in Czech between formal codification and language use, as well as serve as an argument in the ongoing debate.

History

The current situation in Czech linguistics has its historical roots. After a long period of stagnation in the 17th and 18th centuries, a Czech linguistic and national renaissance began at the end of the 18th century, continuing throughout the 19th century. This process was common among languages in Europe in connection with the creation of modern nations and the collapse of old cultural and institutional structures. A number of written languages were created, or created anew, in Europe. The first step in the Czech national revival was to codify the written language and begin using it as a cultural language. Two principal paths could be followed: one either took the spoken language currently in use as starting point, or turned to an older written language. Czech linguists choose the latter alternative.

In the drama of the codification of written Czech, Josef Dobrovský (1753–1829) – “the father of Slavonic studies” – played a key role. Dobrovský turned to the older literature in his search of a “pure” language. Making the Kralice Bible from the 16th century the basis for his grammar³, Dobrovský made clear that he regarded the contemporary literature in Czech as insufficiently elevated for his needs. The interesting thing to note in this context is that the Czech language had undergone several morphological and phonological changes in the two centuries following the first publication of the Kralice Bible. In Czech phonology, *y/í* had become *ej*, *é* had become *y/í*, words beginning with *o-* had received a so-called prothetic *v-*, and the older *ú* had changed to the diphthong *ou*. Also Czech morphology underwent changes through the centuries: the endings *-ami*, *-ama* etc. were used for the instrumental plural of masculine and feminine nouns (e.g. *před ostatkami*, *slovma*, *s hříšníkama*, Havránek 1979:74). The *-é* ending was used for neutral adjectives in nominative plural, e.g. *svaté jména* (ibid:74).⁴ Vocabulary as well underwent changes during this period, with a large number of germanicisms, primarily in terminology and mostly words associated with trade (ibid: 75).

³ *Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache* from 1792.

⁴ However, the norm varied, which is also illustrated by the frequent use of hypercorrect forms (e.g. **slzy* instead of *slzami*, Havránek 1979:7)

The language in the Kralice Bible thus differed in many respects from the living language, which was spoken at the end of the 18th century. But Dobrovský did not consider his grammar to be normative. His authority was so great, however, that forms lacking doublets were perceived as codified. In the generations that followed, with Jungmann, and later Gebauer, leading the way, this conservative view of language was strengthened, primarily in the field of morphology. Several of Dobrovský's alternative forms were eliminated, e.g. *kupuji* was codified as the only allowed form in 1 p. sing. (Cuřín 1985:108).

An inspiring discussion of the development of the Czech language and the Czech nation can be found in Macura's *Znamení zrodu* (1983), where the mythologization of the Czech nation is dealt with. Macura conducts a semiotic analysis of the Czech National Revival using the concept of Czech "linguocentrism", which refers to the nearly sacred role as an icon for the nation held by the Czech language in the 19th century.⁵ The Czech national renaissance having a philological undertone, language functioned, according to Macura, as a foundation for Czech national sentiment. The language as well as the nation as a whole being mythologized, they became signifiers of certain values, entirely in accordance with the Romantic value system. The 19th-century national renaissance is one of the keys to interpreting both the codification process and the current Czech "language controversy". This way, the sources of the great differences between codified and non-codified Czech can be traced back to the stagnation of the Baroque period and to the ideological undertone of the national renaissance.

Linguistic purism having had a strong position in the history of Czech, it has played an important role for the differences between the language varieties in contemporary Czech.⁶ Similar cases are, for example, Norwegian and Croatian. Czech has experienced several waves of purism, the strongest occurring from the 1870's through the 1890's (see Jelínek 1979, Thomas 1991). This upsurge of purism focused on cleansing Czech from germanicisms, particularly in vocabulary. While later waves of purism have been weaker, a conservative view of language and language planning has persisted in linguistics until today. Language planning and norms are still important parts of Czech education (see Starý 1995, Cvrček 2004:10, Nebeská 1996).

⁵ See also Winner (2000:27), who states: "Thus the Czech National Revival, and even much of modern Czech culture, took on a strongly metalinguistic character, and this linguocentrism is still active today".

⁶ Linguistic purism is connected with 19th-century historical-comparative linguistics, which sought regularities in a diachronic perspective. Paradoxically, it was German linguists that influenced the Czech ones. These Czech linguists had, in turn, great influence on the other Slavic nations in the Habsburg monarchy (Thomas 1991:125ff).

After the so-called Velvet Revolution in 1989, the issue of codification and norm in the Czech language has experienced a renaissance. The dichotomy between SC and CC in the Czech language has, as mentioned above, been much debated and the varieties of Czech have been dealt with by a large number of researchers (see Hedin 2005, Cvrček 2006). Much of the debate concerning the Czech varieties has focused on attitudes towards codification and language norms. It is important to distinguish between language norm and codification. Marklund Sharapova (2000) notes the confusion of terms, which occurs when the polysemic word “norm” is discussed. She uses the concepts of explicit and implicit norm: “*implicit norm* is equal to the actual norm/the *de facto norm* (i.e. the usage of educated speakers) and *explicit norm* is the codified norm.” (Marklund Sharapova 2000:41). We can conclude that in the current Czech language situation, there is a discrepancy between implicit and explicit norm and some uncertainty regarding what should be codified and what shouldn't.

While some empirical studies of larger corpora of the functional varieties of Czech were published in the last half-century, they have often focused on categorisation and analysis of primarily literary dialogues. Kučera (1955, 1961), Kravčíšínová & Bednářová (1968), Hammer (1986 and later articles), Townsend (1990), Gammelgaard (1997) and Bermel (2000) have conducted empirical studies of the varieties of Czech. They have dealt with hierarchies of elements and created empirical models for how CC is used (see also Bermel 2000:37). Studies of spoken Czech have been done, but rarely in combination with analysis of the Czech varieties. Studies of CC in different discourses (Bayer 2003, Maglione 2003, Hedin 2005, Wilson 2007) have been conducted primarily in recent years, and further studies are needed.

Czech language on television

The analysis presented here focuses on television discourse. Being a mixture of prepared and unprepared speech, it provides a good opportunity for studying the distribution of Czech varieties and their function in speech. In Hedin 2005, I examine different aspects of language variation in contemporary Czech television discourse, focusing on the shows as well as the participants. The source material consisted of fifteen television shows, with moderators and guests in dialogue, creating a corpus of a total of 24,000 words. The language in the corpus was tagged according to some distinctive features between the two varieties, as shown in Appendix. The elements were categorized and analyzed statistically.

The great linguistic variation in Czech language usage becomes particularly visible in conversations on television. Here we find various types of conversation, both formal and informal, with different topics and participants, as well as a variation

in the degree of spontaneity. There is a tension between personal conversation, on the one hand, and serious discussion, on the other. Television has undergone radical changes in the post-Communist Czech Republic. While in a short period of time, the Czech media transformed from being totalitarian to “Western”, with a deregulated market and international owners (Kaplan 1996:34), language has adapted to the new scene. Language on Czech television has undergone a transformation as great as that experienced by the medium itself. The language changes are also part of a transition of society and its forms of communication.

Quantitative data

The empirical base for the discussion below is taken from a larger survey on language in Czech television (Hedin 2005). The empirical study of spoken Czech in television discourse shows that different tokens of Czech are used in different communicative spheres. It is therefore, in my opinion, often hard to state that a certain token is “wrong”. As a starting point for further discussion, I will concentrate on a few elements in the CC/SC.

Consonant clusters

In Hedin 2005, I examine the frequency of consonant cluster simplifications in debate programmes and talk shows on Czech television. Sgall et al. (1992) state that these simplifications are common in colloquial language. Most of them occur in the initial position. As shown by the survey data, these simplifications are very common in television dialogues.

The pronunciation *byl sem* (instead of *byl jsem*) is today codified as “correct” pronunciation, i.e. it does not affect the degree of *spisovnost*. The pronunciation *jsem*, however, is perceived as “especially good usage” (*zvlášť pečlivá*) particularly if the preceding word ends with a consonant (Palková 1994:337). Despite of this, the form without *j-* has a frequency of 98 %, which means that the “most correct” form is almost non-existing even in the semi-official television discourse.

Pronunciation of the verb *jít* (go) without *j-* (*jdu, jdeš*, etc.) is not accepted in codified pronunciation (Palková 1994:337). These form of have a frequency of 75 % in the survey data.⁷ Again, this discrepancy between language use and norm highlights the issues of norm and codification. The fact that pronunciation without *j-* is not codified can be viewed as somewhat strange considering that as much as 76 % of all occurrences are pronounced without *j-*. Other consonant groups analyzed

⁷ The initial *j-* is most common in *jde* in set phrases (*jde o to o jakou cenu o jakou míru zda lidé sou schopni na to reagovat* (V pravé poledne, 4 July 1998). The initial position in the phrase is also a factor.

Alternation	SC–CC
jC–C	jdu–du, jsem–sem etc.
kd–d	když–dyž, kdyby–dyby
vžd–d	vždycky–dycky, vždyt–dyt
kt–k	který–kerý
čt–št	čtvrtek–štvrtek ⁸
stn–sn	vlastně–vlasně
něj–ň	nějak–ňák ⁹
sm–sum	osm–osum ¹⁰

Table 1: Consonant cluster simplifications in the study.

in the study are *nějak-ý*¹¹ (*ňák-ý* 76 %) and *vlastně* (*vlasně* 69 %), which are very frequent as well, even in the formal debates.

Placement in the word	SC	CC	Example
In ending	-ý/-í	-ej	<i>dobrý–dobrej, cizí–cizej</i>
Before consonant	-ýC/-íC	-ejC	<i>dobrých–dobrejch, cizích–cizejch</i>
In word stem	-ý-/-í-	-ej-	<i>být–bejt, cítit–cejtit</i>
In ending	-é	-ý	<i>dobré–dobrý</i>
Before consonant	-éC	-ýC	<i>dobrého–dobrýho, dobrému–dobrýmu</i>
In word stem	-é-	-ý-	<i>mléko–mlíko</i>
Prothetic v-	o-	vo-	
Autosemantic word			<i>okno–vokno</i>
Function word			<i>od–vod</i>

Table 2: Systematic phonological alternations in the analysis.

⁸ Dissimilation occurs in this group.

⁹ The alternation between *nějak* and *ňák* is not merely a case of a consonant cluster simplification, but it is nevertheless included here. Both *Slovník spisovného jazyka českého* and Sgall & Hronek 1992 classify it as CC.

¹⁰ The pronunciation of *sedum*, *osum* and their derivatives is correct, according to Palková 1994:337.

¹¹ A whole syllable gets lost here.

Alternation	Examples	Occurences of CC/ Total occurences	Percentage of CC
-é – -ý	dobrý auto	158/519	30 %
-éC – -ýC	dobrýho	50/178	28 %
-é- – -ý-	přivýst	6/24	25 %
-ý- – -ej-	bejt	25/111	23 %
-ý – -ej	dobrej	68/358	20 %
o- – vo- function words	von, vod	40/268	14 %
o- – vo- all		73/590	12 %
-ýC – -ejC	dobrejch	16/125	12 %
o- – vo- autosemantic words	vokno	33/322	10 %
ú- – ou-	ouzko	1	0 %

Table 3: Relative frequency of phonological elements in the total corpus material, systematic alternations.

Phonology

The phonological elements analysed in the study are shown in Table 2. Out of the elements analysed, the alternation *é-ý* shows the largest figures, being not at all uncommon in television discourse, see Table 3.

The programmes have also been divided into different types according to how different speakers use CC (moderators and guests). The dialogue groups are as follows: S1 = all speakers speak SC; SII = All speakers speak CC; AII = different speakers have different codes; Mixed = other (see Hedin 2005:66 for further definitions).

	Guests SC	Guests CC
Moderator SC	SI	AI
Moderator CC	AII	SII

Table 4: Dialogue groups in the source material.

Diagram 1 below shows the frequency of phonological alternations in these different types of dialogue. In the programmes where all participants speak CC (SII), the frequency for the alternation of *é-ý* reaches almost 80 %. We can also see that

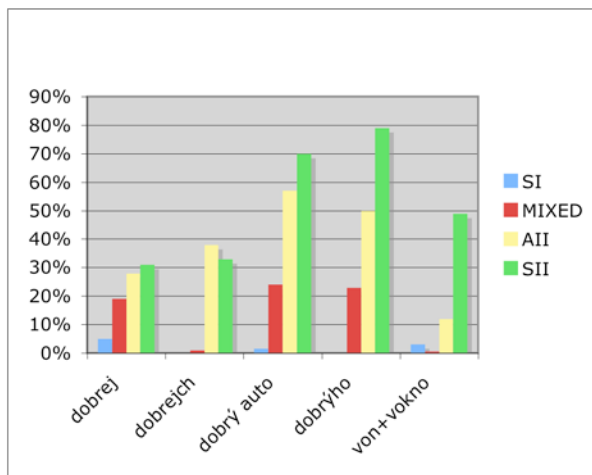


Diagram 1: Systematic alternations in all dialogue groups. Staples indicate percentage of CC.

this alternation, as well as prothetic *v*, is more bound by discourse than the alternation between *y–ej*.

Morphology

The frequency of morphological CC elements in the corpus material has also been studied. It can be concluded that the forms *říct* instead of *řící*, *moje* instead of *má* and *pracuju* instead of *pracuji* are relatively common in formal conversations. It should be noted that all of the most frequent forms are codified as doublets of the older, now archaic forms. There is a difference in frequency between the codified forms and those that are common but not codified. This may be related to adaptation to the norm. Even if the forms are equally frequent in everyday speech, speakers adapt to the norm when appearing on television. The codified forms are naturally more “acceptable” than those that have not yet been codified.¹²

Neither *-ý* in the neuter plural form of adjectives, *-ma* in instrumental of all genders, nor the present-tense first-person plural form without *-e* are common in the material. Their distribution is similar to that of the most common phonological alternations. The only forms which are frequent, but not yet codified, are *moh*, *dobrý kluci* and *seš*¹³. The most noteworthy are *moh*, with a frequency of 45 %, and *dobrý*

¹² The results of the morphological analysis reveal similarities with previous studies. The relative frequency below corresponds to Kravčíšínová & Bednářová (1968): *říct* 90 %, *pracuju* 89 %, *moh* 79 %, *pracujou* 34 %, *budem* 29 %.

¹³ There are very few occurrences of *seš*.

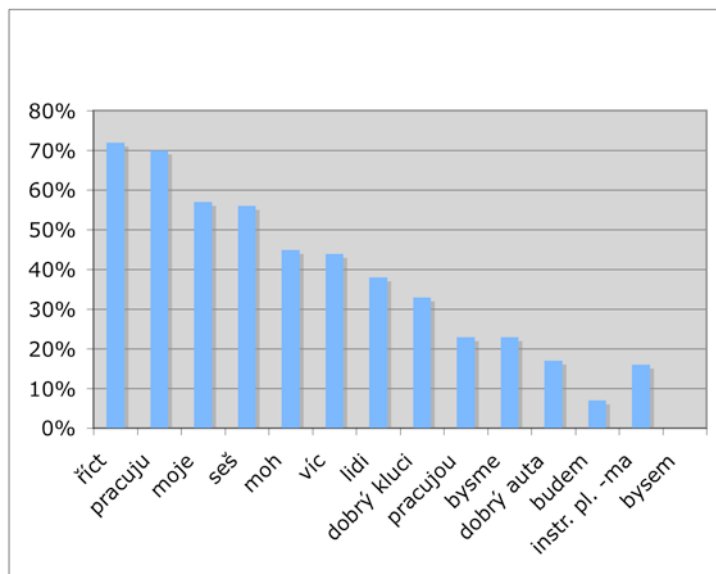


Diagram 2: Morphology in the total corpus material, cf. Table 5. Staples indicate percentage of CC.

kluci, with a frequency of 33 %. These forms are not considered “correct” in formal speech, but are nevertheless very common, even in the semi-official discourse on television. This leads us back to the discussion of codification of CC forms and the purpose of codification, i.e. whether it should reflect actual language usage or serve as a normative guide (cf. Marklund Sharapova 2000).

A functional approach to the Czech varieties in television dialogues

The Czech varieties are strongly dependent on context, as well as on the topic of conversation and the participants’ roles. Other strongly contributing factors are status, gender and class (cf. Hedin 2007). The framework for the speaker’s choice of variant is dependent on the situation as well as the person’s role in the narrative (victim, moderator etc.; see Hedin 2005). The study of conversation in contemporary Czech television discourse reveals important characteristics of various speech situations. Different layers of language use can be elucidated through close analyses of data from television programmes. In my study, Goffman’s notion of *face*¹⁴

¹⁴ By face is meant “ [...] the positive social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken.” (Goffman 1967:5).

CC form	Percentage of CC/Occurrences
říci – říct	72 % 31/43
pracuji – pracuju	70 % 26/37
má – moje	57 % 17/109
(j)si – seš	56 % 5/9
mohl – moh	45 % 39/87
více – víc	44 % 5/49
lidé – lidi	38 % 12/32
dobří kluci – dobrý kluci	33 % 22/67
pracují – pracujou	23 % 6/26
bychom – bysme	23 % 10/44
dobrá auta – dobrý auta	17 % 6/36
budeme – budem	7 % 5/67
-ma	16 % 17/109
bych – bysem	0 %

Table 5: The frequency of morphological CC markers in the total corpus material.

is connected to the choice of code, as well as to the conversational atmosphere prevailing in the programme. It is important that the participants do not lose face by a participant exceeding the established boundaries of the show. If the level of intimacy is too high or too low, the credibility of the message is diminished. The target audience and degree of intimacy, subjectivity and spontaneity constitute significant factors for the *linguistic façade* of the show.¹⁵ In Czech talk shows today, there is often a focus on the personal. This mediated intimacy requires a new linguistic façade and a new communicative competence, or mediated intelligence, on the part of the participants. Here the relationship between standard and non-standard language plays a central role in the creation of dialogue and in the credibility of the participants' stories. The private and public spheres blend, transforming the dichotomy between private and public language into a new form of talk: media conversation.

Conclusions

In dealing with issues of language planning or attitudes towards the norm, as well as definitions of the Czech varieties, the standpoints of Czech linguistics contin-

¹⁵ In a conversation on television, the façade consists partly of the shows conversational *framework*, and partly of the participants' personal *façade* (Goffman 1990:230ff, 32ff). Goffman's main point is a metaphorical description of communication as theatre. Here we find a direct connection to television genres.

ue to vary. Attitudes concerning the implicit norm, as well as attitudes to what should be codified and how the explicit norm can be influenced, differ markedly. Some researchers view CC as a regional variant, an interdialect with regional validity. CC's functions are thereby played down. Instead, the dichotomy between SC and all other kinds of Czech is emphasised. In this way, the term "substandard" applies to all language that is not codified, i.e. dialects, slang and even CC. The relatively stable implicit norm that exists in CC is disregarded here, and the differences between spoken and written language are emphasised as an explanation of the great discursive differences in modern Czech. The concepts of *Standard Czech* and *spisovný jazyk* are changing in the linguistic reality of the 21st century. A successful communication is not only connected to the ability to speak SC or CC, as shown in Hedin 2005, but rather to the ability to recognize the different functions of linguistic varieties. SC is insufficient as a means of communication in spoken discourse, as argued already by Čermák 1993:30, as well as in chat and text messages. The functional plurality of Czech instead gives the speaker a broad choice between several grammatical and lexical devices depending on the situation.

It is in close connection with this view that issues concerning codification, normative language planning and the status of the national language (read: SC) are discussed. There is still a strong normative element in the debate concerning the varieties of Czech. Instead of studying how people speak in reality, it is discussed how one *should* speak. In this context, I have argued for a functional approach to the Czech language. This brief survey of the discussion concerning the role and status of the Czech varieties demonstrates the need for a larger body of data in order to assess the stratification of the Czech language. The differing viewpoints can to some extent be said to result from a lack of research on a variety of communicative spheres.

Bibliography

- Adam, R. 2007. "K diskusi o 'standardní' a spisovné češtině", *Slovo a slovesnost* 68, pp. 184–189.
- Bayer, L. 2003. *Sprachgebrauch vs. Spracheinstellung im Tschechischen: Eine empirische und soziolinguistische Untersuchung in Westböhmen und Prag*. München: Otto Sagner.
- Bermel, N. 2000. *Register variation and language standards in Czech*. LINCOM studies in Slavic linguistics 13. München: Lincom Europa.
- Čermák, F. 1993. "Spoken Czech". In Eckert 1993, pp. 27–41.
- Čermák/Sgall/Vybíral, 2005. "Od školské spisovnosti ke standardní češtině: výzva k diskusi". *Slovo a slovesnost* 66, pp. 103–115.
- Čermák, F. & Sgall, P. & Vybíral, V. 2006. "K diskusi o 'standardní' a spisovné češtině", *Slovo a slovesnost* 67, pp. 267–282.

- Cuřín, F. 1985. *Vývoj spisovné češtiny*. Prague: Státní pedagogické nakladatelství.
- Cvrček, V. 2004. *Vývoj polemických názorů na kodifikaci češtiny po roce 1945*. Diplomová práce. Prague: UK.
- Cvrček, V. 2006. *Teorie jazykové kultury po roce 1945*. Prague: UK.
- Eckert, E. (ed.) 1993. *Varieties of Czech. Studies in Czech sociolinguistics*. Amsterdam: Rodopi.
- Gammelgaard, K. 1997. *Spoken Czech in literature. The case of Bondy, Hrabal, Placák and Topol*. Oslo: Universitas Osloensis.
- Goffman, E. 1967. *Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior*. Chicago: Aldine.
- Goffman, E. 1990. *The presentation of self in everyday life* (1959, Anchor). London: Penguin.
- Hajičová, E. & Schmiedtová, V. 2007. "Standardní čeština a korpus", *Slovo a slovesnost* 67, pp. 262–266.
- Hammer, L. B. 1986. "Code-switching in Colloquial Czech", in J. L. Mey (ed.) *Language and discourse – Test and protest: A festschrift for Petr Sgall* Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, pp. 455–473.
- Hammer, L. B. 1993. "The function of code-switching in Prague Colloquial Czech", in E. Eckert (ed.) 1993. *Varieties of Czech. Studies in Czech sociolinguistics*. Amsterdam: Rodopi, pp. 63–78.
- Havránek, B. 1979. *Vývoj českého spisovného jazyka*. Prague: Státní pedagogické nakladatelství.
- Hedin, T. 2002. "The dialogical façade: Talk in Czech television talk shows", in M. Hurd et al. (eds.) *Storylines. media, power and identity in modern Europe: Festschrift for Jan Ekekrantz*. Stockholm: Hjalmarson & Högborg, pp. 120–142.
- Hedin, T. 2005. *Changing Identities. Language and Variation on Czech Television*. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
- Hedin, T. 2007. "Gender and language in Czech talk shows", in C. Bardel & B. Erman (eds.) *Language and Gender from Linguistic and Textual Perspectives* (Studier i modern språkvetenskap utgivna i samverkan med Nyfilologiska sällskapet i Stockholm. Ny serie, 14). Stockholm: Almqvist & Wiksell.
- Jelínek, M. 1979. "Purismus", *Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti*. Prague: Academia, pp. 140–141.
- Kaplan, F. L. 1996. "A divergent path: The European media model", Glenn, P. J. & O. Šoltys (eds.) 1996. *Media '95: Experience and expectations – Five years after*. 1996. Prague: UK.
- Kořenský, J. 2005. "K článku Od školské spisovnosti ke standardní češtině: reakce na výzvu k diskusi", *Slovo a slovesnost* 66, pp. 270–277.

Kravčíšínová K. & Bednářová, B. 1968. "Z výzkumu běžně mluvené češtiny", *Slavica Pragensia* 10, pp. 305–320.

Kučera, H. 1955. "Phonemic variations of spoken Czech", *Word* 11/4, pp. 575–602.

Kučera, H. 1961. *The phonology of Czech*. The Hague: Mouton.

Macura, V. 1983. *Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ*. Prague: Československý spisovatel.

Maglione, C. 2003. "A remark on new research in everyday Czech", *The Prague bulletin of mathematical linguistics* 79–80. Prague: UK, pp. 87–100.

Marklund Sharapova, E. 2000. *Implicit and explicit norm in contemporary Russian verbal stress*. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Nebeská, I. 1996. *Jazyk, norma, spisovnost*. Prague: UK.

Nekvapil, J. 2007. "Kultivace (standárního) jazyka", *Slovo a slovesnost* 68, pp. 287–301.

Oliva, K. 2005. "Požadavky na úroveň diskuse o spisovné/standartní češtině", *Slovo a slovesnost* 66, pp. 278–290.

Palková, Z. 1994. *Fonetika a fonologie češtiny*. Prague: UK.

Sgall, P. 2004. "K vývoji výzkumu obecné češtiny". In E. Minářová and K. Ondrášková (eds.) *Spisovnost a nespisovnost – Zdroje, proměny a perspektivy*. Brno: MU, pedagogická fakulta, pp. 34–39.

Sgall, P. & Hronek, J. 1992. *Čeština bez příkras*. Prague: H&H.

Sgall, P. et al. 1992. *Variation in language: Code switching in Czech as a challenge for sociolinguistics*. Amsterdam: John Benjamins.

Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ). 1960–71/1989. Eds. B. Havránek et. al. Prague: Academia.

Starý, Z. 1995. *Ve jménu funkce a intervence*. AUC Philologica. Monographia CXXIII. Prague: UK.

Thomas, G. 1991. *Linguistic purism*. London: Longman.

Townsend, C. E. 1990. *A description of spoken Prague Czech*. Columbus, Ohio: Slavica.

Wilson, J. 2007. *Moravians in Prague. A Sociolinguistic Study of Dialect Accommodation in the Czech Republic*. PhD-thesis, Department of Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield.

Winner, T. G. 2000. "Czech and Tartu-Moscow semiotics: The cultural semiotics of Vladimír Macura 1945–1999", *Studia Russica Helsingensia et Tartuensia* VII, pp. 25–32.

Appendix

The model of the Czech language used in this study is given below. The following categories are included in the model and are used in this paper:

- A – Bookish words and forms
- B – Marked Standard Czech
- C – Neutral words and forms
- D – Colloquial elements
- E – Marked Common Czech

Bookish elements are strongly marked in spoken Czech, whereas neutral elements and the D field are unmarked. CC and SC elements are context-dependent, i.e. unmarked in certain situations and marked in others. The relation between the two varieties this way resembles a scale ranging from A–E (Bookish words and forms, through SC, Neutral forms and Colloquial elements to CC). At the same time, the Czech language is a dichotomy, where A–D constitutes Standard Czech, while C–E is Common Czech. This view is the basis for the tagging of the source material.

	A. (Bookish)	B. (Marked Standard Czech)	C. (Neutral)	D. (Colloquial elements)	E. (Marked Common Czech)
Phonology	jsem	dobrý (nom. sing.masc.) okno kdybych	holka židle	de sem	dobrej (nom. sing.masc.) vokno dybych
Morphology	děkuji svá mohu dobrá auta (neutr.pl.)	provedl takového hosté s diváky dosti	hezká hol- ka dělám mluvit	děkuju můžu dál lidi	milejma dobrý auta (neutr.pl.) abysme
Lexicology	zcela nyní téměř	tedy	stůl nebe psát	bezvadný čmárám to je fakt	blbost furt fakt
Syntax	z čehož jejichž (j)ste-li	buďto byl lídrem	nebo a	byl lídr ty by si	já myslela ty nápisy co

Table 6: Tagging of source material.

Как московские переводчики XVII в. справлялись с фразеологизмами иностранных источников?

**(На материале переводов с немецкого
и нидерландского языков)**

Русская фразеология XVII века еще недостаточно изучена. В то время как о фразеологии XVIII века несколько лет тому назад появилось монографическое исследование Александра Бириха (Bierich 2004), более ранние периоды остаются практически не исследованными. Нам известна одна-единственная монография о русской фразеологии XVI–XVII веков (на материале деловой письменности), а именно докторская диссертация Георгия Александровича Селиванова (1973; опубликован только автореферат). В целом, конечно, в области исторической фразеологии существует значительное количество работ. Но нередко это небольшие статьи, посвященные этимологии отдельных фразеологизмов (см., в частности, библиографию Бирих, Мокиенко, Степанова 1994: 1–62).

Цель настоящего краткого сообщения достаточно ограничена. На основе переведенных текстов XVII века рассматриваются те трудности, с которыми сталкивались московские переводчики, если им приходилось иметь дело с фразеологическими единицами в иностранных первоисточниках. Насколько хорошо они понимали эти фразеологизмы? А если понимали, то насколько адекватными бывали эквиваленты, выбранные ими на языке перевода, то есть русском? Пользовались ли они при переводе русскими фразеологизмами или преимущественно свободными словосочетаниями?

Источниками исследования послужили в первую очередь переводы из немецких и голландских газет и памфлетов политического содержания – так называемые «Вести-Куранты» (в дальнейшем – В-К). При этом использовались в первую очередь подготовленные к изданию, но еще не опубликованные «куранты» 1660-х годов (т.е. будущий шестой выпуск В-К). Мы исследовали также пособие по военному делу «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», напечатанное в Москве в 1647 г. (далее – «Учение»). В качестве сопоставительного материала привлекались иностранные источни-

ки: для В-К — идентифицированные нами печатные газеты и памфлеты, а для «Учения» — нидерландское издание известной книги Иоганна Якоба фон Вальгаузуна «Krychs-konst te voet», вышедшее в 1617 г.

Приведем сначала несколько примеров из В-К, свидетельствующих о том, что далеко не все иностранные фразеологизмы вызывали проблемы.

Поскольку в газетах времен Тридцатилетней войны (1618–1648) отражались главным образом события, связанные с этой войной, военная лексика играет важную роль также и в русских переводах (курантах) этого периода. Так, например, в немецких и нидерландских оригиналах часто фигурируют контексты, в которых речь идет о том, как барабанным боем вербуются солдаты или оглашаются боевые распоряжения. Это довольно понятные ситуации, и какие бы фразеологизмы ни употреблялись, они не вызывали трудностей у переводчиков Посольского приказа. Так, русский¹ переводчик хорошо справился с нидерландским фразеологизмом *de trommel omslaan*² ('оглашать что-л. барабанным боем') в переводе из амстердамской газеты, напечатанной в июне 1621 г.³: «In veele van onse Frontier-steden verstaetmen *met Trommels omgheslaghen te zijn*/ dat sich gheen Soldaet vervorderen sal buyten de Poorten te begheven sonder expresse last», — он передал этот фразеологизм при помощи словосочетания *бити по набаты*⁴: «в ншхъ рубежных | городѣх **по набаты били и вы|кликали** чтоб никоторои салдат | без нарочного приказу за во|рота не выходил».

В том же выпуске голландской газеты встречается оборот *de trommel slaan* в значении 'вербовать военных'. Переводчик хорошо передал фразеологизм также в этом случае, — опять оборотом *по набаты бити*: «Soo wort oock alhier alle dagen *de Trommel sterck gheslaghen* voor den Eertz-Hertogh Leopoldus...⁵» → «а здѣся в го|роде Аузбурге⁶ ежеден | **по набаты бьют и на-**

¹ Мы пользуемся термином «русский переводчик» независимо от национальной принадлежности определенного сотрудника Посольского приказа. Поскольку лишь в редчайших случаях удается идентифицировать переводчика какого-л. конкретного текста, о происхождении переводчика в большинстве случаев ничего не известно.

² Значение (устаревшее), согласно словарю «Woordenboek der Nederlandsche Taal»: «een oproep of aankondiging doen bij trommelslag, (iets) bij trommelslag bekendmaken».

³ Дата печати выпуска (между прочим, второго среди известных нам выпусков голландских газет, использованных в качестве источника в Посольском приказе): 5 июня 1621 г. Газета, выходившая с 1619 г., в это время еще не имела названия; позднее она получила название «Tydingen uyt verscheyde Quartieren».

⁴ В-К I: 51 (л. 6.9).

⁵ Из амстердамской газеты от 5 июня 1621 г. (подробнее см. прим. 3).

⁶ Так в издании В-К. К сожалению, у нас нет доступа к рукописи, но нам представляется вероятным, что вместо выносной буквы *v* в слове «Аузбурге» также можно прочитать *z*, т. е. «Ауззбурге».

имовают лю|деи на арцкнзя Леаполда⁷». Двухкратное употребление выражения *по набаты бити* – причем в соответствии с разными нидерландскими оборотами – показывает, что это не вполне свободное словосочетание.

В еще более сокращенном виде подобный фразеологизм встретился по-немецки, а именно в гамбургской газете 1631 г.⁸: «vnnnd Gestern allhier öffentlich *vmbgeschlagen* ...». Как и в предыдущих примерах, переводчик передал немецкий фразеологизм описательной перифразой, написав «и вчера здѣ въявь | по набаты бьют и людеи наима|ють ...»⁹.

В следующем примере, 1645 г., тоже относящемся к событиям Тридцатилетней войны, представлен другой фразеологизм с барабаном, а именно *de trommel roeren* ('бить в барабан')¹⁰: «*De Trommel wort geroert* om Amack te besetten» → «Здѣсь по бо|рабаном бьют чтобъ вв (Так в ркп.) А|макерскую землю ратныхъ | людеи поставитъ¹¹». На немецком языке соответствующий фразеологизм тоже был весьма употребительным. Ср., например, цитату из данцигской газеты (1648 г.)¹²: «*Der Ausschuß alhier hat befehl/ zu allen zeiten / so baldt die Trommel gerührt wirdt/ mit jhrem gewehr bereit zu seyn*». Переводчик написал: «ратным людем приказано здѣсь по всемъ временямъ | какъ в барабаны забьют что они с ружемъ го|товы были¹³». В той же газетной статье имеется и еще одно употребление фразеологизма *die Trommeln rühren*: «vnd wird *die Trommel stark gerühret* vmb andere Freywillige an jhre stelle anzunehmen». В данном случае в русской версии находим контаминированную конструкцию – (бить) в барабаны + ворошить (барабаны) (последнее, вероятно, под прямым влиянием немецкого оригинала с глаголом *rühren* 'двигать, мешать'): «и опятъ | в барабаны крепко заворошили для иныхъ добро|волныхъ на ихъ мѣста взяти».

Перейдем от военной фразеологии к «газетной». В немецких газетах XVII века часто употреблялся графарет *gibt (die) Zeit / eröffnet die Zeit* 'время покажет', например, в следующей цитате из гамбургской газеты 1631 г.¹⁴: «wie es Obristen Gratzen/ so darinnen commandirt/ ergangen/ *gibt Zeit*». Для переводчика эта формула – даже в сокращенном виде (без определенного артикля) – не представляла трудности; он написал «а что пол|ковнику Гарцу

⁷ В-К I: 50 (л. 6.4).

⁸ Wochentliche Zeitung, Hamburg (Z 9/1631/19/4). Для немецких источников здесь и далее указывается шифр в бременском исследовательском институте Deutsche Presseforschung, где хранятся копии всех известных выпусков немецких газет XVII в.

⁹ В-К I: 150 (л. 30.28; см. также П5.83).

¹⁰ Evropische Saterdaghs Covrant 1645/35/2.

¹¹ В-К III: 48 (л. 11.36).

¹² Particular-Zeitung (Z 67/1648/16/4).

¹³ В-К III: 187 (л. 60.45).

¹⁴ Wochentliche Zeitung (Z 9, 1631/17/2).

которому тут было | приказано вѣдат учинили и то | вперед услышим»¹⁵. (В другом случае в курантах фигурирует фраза «и о томъ вскоре время окажется»¹⁶, которая, видимо, тоже передает немецкий газетный трафарет; оригинал, однако, не найден.)

В письме «знатного ученого из университета Гельмстадта аптекарю в Гарлебене», опубликованном в конце брошюры 1646 г. о якобы чудотворном колодце¹⁷, автор суммирует мнения разных врачей о лечебных веществах, содержащихся в минеральном источнике, словами «**Dem sey nun wie ihm wolle/ so ist doch die Wirkung aller Brunnen/ wie ob angereget wundersahm/ vnd mit keinen Worten oder Schrifften zu beschreiben ...**»¹⁸. Переводчик, как нам представляется, нашел отличный эквивалент¹⁹: «и то буди какъ ни есть | и изцеленье всѣхъ колодезей сусоити чудно какъ выше сего | писано ни словами выгово|рить ни писмомъ описати» – впрочем, во втором полужирном фрагменте обращает на себя внимание использование двух глаголов (*выговорить*, *описать*) в соответствии с немецким *beschreiben*, что усиливает образный характер перевода²⁰. В то же время следует констатировать, что переводчик данной брошюры не везде справился с немецкой фразеологией: очевидно, во фразе «daß sie nicht vnterkommen können» ('что не могли найти жилья'; с. [7]) он не понял метафорического значения глагола *unterkommen*. В русской версии мы читаем: «...что не могут до воды | додратца»²¹, т.е. переводчик, по-видимому, понял немецкий глагол дословно, по аналогии с другими приставочными глаголами типа *herkommen* ('прийти'), *heraufkommen* ('прийти вверх'), *herabkommen* ('прийти вниз'). Впрочем, в другом переводе приблизительно того же времени, точнее – 1649 г., переводчик таким же образом не понял значения глагола *umkommen* 'трагически погибнуть': «Die Herrn Commissarien/ so bey dieser Fluth vmbkommen/ seynd gewesen Herr Doctor Welsler Costnitzischer Rath/ Herr Lerchenfeld vnd ein Doctor vom Hertzog von Württemberg»²² ('депутаты, которые погибли в этом потоке, были ...'; речь идет о вюртембергских депутатах на нюрнбергских переговорах об исполнении Вестфальских мирных трактатов 1648 г.). В русской версии нет

¹⁵ В-К I: 151 (л. 30.31).

¹⁶ В-К III: 74 (л. 20.268).

¹⁷ Речь идет о колодце, неожиданно возникшем в 1646 г. в деревне Хорнхаузен (недалеко от Магдебурга).

¹⁸ Gründlicher unnd Warhaffter Bericht ..., S. [8].

¹⁹ В-К III: 135 (л. 48.305–306).

²⁰ Фразеологизм и *то буди какъ ни есть* нам встретился также в переводе «с немецково письма какова рѣч была от еѣ королевина величества свѣиские» (оригинал не обнаружен); ср. В-К III: 53 (л. 15.178).

²¹ В-К III: 135 (л. 48.302).

²² Ordinari Diengstags Zeitung (Z 9/1649/Pr.21/1); корреспонденция из Нюрнберга, 11 мая.

никакой трагикомии: «Господа куми|сары **которые пришли к тому мѣсту** по имени ...²³», т. е. переводчик опять понял метафорический приставочный глагол в конкретном смысле, как глагол перемещения.

Переводчик немецкого образного выражения «Im widrigen/ sehen sie **ihren Todt vor Augen**²⁴» ('в противном случае им предстоит смерть') несомненно понял оригинал, но передал его, как нам представляется, слишком дословно: «а *будет* | они не похотят добром здатца | и они **видят смерть свою пе|ред очами**²⁵».

Обратимся теперь к еще не опубликованным курантам 1660-х годов. Сначала приводятся примеры с такими иностранными фразеологизмами, которые были поняты переводчиком и переведены достаточно хорошо, хотя и при помощи свободных словосочетаний, не фразеологизмов²⁶.

Как в немецких, так и в голландских газетах нередко фигурирует фразеологизм *auf dem Platz bleiben / op de plaets blijven*, означающий 'умереть (на поле боя)'. Так, например, мы читаем в одной мелкой корреспонденции из Вены, напечатанной в гарлемской газете 1666 г.²⁷: «De Tartaren en Turcken hebben te samen gheslagen, **dat wel 10000 Man op de plaets zijn gebleven**, waer mede de Turken te rugh hebben moeten trecken.» В русской версии мы находим вполне правильный эквивалент: «Ис Крыму слышат²⁸ что у турков | с татарами бои были и с **обоих | сторонъ пало зъ ꙗко [10 000] члвкъ** | но по *многом* времени турки | бѣгу далис» (54.229). Переводчик фразеологического оборота «Polen (is) in een *Brant van Oorlogh*», 'Польша находится в пожаре войны' (оригинал № 343) передал нидерландский фразеологизм буквальным эквивалентом, написав: «всему гсдртву *предлежит огненная война*» (48.184), – впрочем, в русской версии Польше предстоит война, а в оригинале война уже в полном разгаре.

Совершенно правильно переведены также следующие примеры из немецких газет, хотя в некоторых случаях употреблен более или менее буквальный русский эквивалент:

²³ В-К IV: 101 (л. 20.10).

²⁴ Particular, Post/ Hambürger vnd Reichs-Zeitung (Danzig; Z 135/1643/26/8; см. факсимильное изображение газеты в В-К II: 372–379).

²⁵ В-К II: 28 (л. 7.33); см. также с. 225, П4.28.

²⁶ Для примеров из В-К VI (в печати) указывается единица издания и лист рукописи, для оригиналов номер соответствующего оригинала из второй части.

²⁷ Оригинал № 381; содержание цитируется целиком.

²⁸ Слова «ис Крыму слышат» добавлены переводчиком, как это часто бывает, когда речь идет о крымских татарах.

Sonsten hat man aus Türecey [...] / daß von der Pforten an alle Türckische Bassa auff den Persianischen Gräntzen geschrieben worden/ **daß sie auf ihrer Huet seyn sollen**/ weiln der König von Persia **mit grosser Macht auff den Beinen**/ und sein Fürhaben bißhero unbekandt (№ 169)

и равно всѣмъ турскимъ пашам на кизылбашскихъ рубежахъ, | писал салтан **чтоб осторожны были** когда | шах кизылбашской с великою мочью | **стоит наготове**, а для чего того не вѣдомо (1669; 169.109–110)

Anfangs hat man sehr besorget/ die Convocation möchte ohne Frucht ablaufen/ anjetzo aber hoffet man ein bessers/ weil vornehmlich die Woyewodschaften durch ihre Gesandten declariret, **sie wollten ihre Hände in dessen Blut heiligen**/ der es wagen würde/ diese Reichs-Versammlung zu brechen ... (№ 120)

Сперва чаяли что конвокация бес пожитков минетца но нне лутче дождаем, | для того воеводства через пословъ своих | объявили что **хотят свои руки кровию светить**, | кто бы смѣлъ зборъ тот рушить (1668; 119.209)

P. S. Mein jüngster Bruder Georg Doroßenko/ bleibet so lange mit dem Rest der Reisingen und Fuß-Knechte in Braclaw stehen/ derselbe wird ebenmässig **auff den Feind ein wachendes Auge haben**/ der Herr halte mit ihm gute Correspondenz (№ 145)

братъ мои молотчи | Георгеи з досталнымъ пѣшимъ | и коннымъ войскомъ под Бряславлем | **стоитъ, такъж и тотъ оберегателное | око на неприятели имѣть**, изволь | гсдне мои с нимъ доброе порозумѣние | имѣть (1669; 161.316)

Jedoch hat man sich **in den Schlaff der Sicherheit** nicht wol **niederzulegen** ... (№ 151)

но **во снѣ безопаство** (так!) | не надобно заспать (1669; 161.315)

Приведем, однако, также несколько примеров, в которых переводчик не только прекрасно понял иностранный фразеологизм, но также и в своем переводе употребил *русский* фразеологизм.

В одной корреспонденции из Варшавы от 31 декабря 1666 г., напечатанной в кенигсбергской газете, говорится о нападениях татар и казаков на украинские города недалеко от Львова: «[...] Zborow/ Zlozow/ und viel andere herumb liegende Städtchen/ **sind allbereit in die Asche geleet** [...]» (№ 64), в на-

шем переводе 'Зборов и Золочев'²⁹ и многие другие городки уже превращены в пепел. Русский переводчик применил совсем другую метафору, написав «а арцывство || Зборовское Злоцов и многие прина|лежащие городки **до подшвы выжгли**» (65а.262–263), т. е. нашел аналог с другим образным планом, а именно либо «до подошвы выжгли», либо «до почвы»³⁰. (Выносное *д* вполне могло обозначать слог *-до-*, но нам представляется, что скорее всего имелось в виду «до подшвы», т. е. «до почвы»; ср. в современном русском языке *сжечь, сгореть дотла*, где *тло* – 'основание, фундамент'.)

В другой варшавской корреспонденции написано: «Nach der Meß hat der Priester Piekarski seine Predigt aus folgendem Text gehalten. Et dixit Samuel congregatis in Maspha, Ecce vos Dominus eruit de manu Regum, qui afflixerunt vos. Gratulirte hierauf der Republicque/ daß der allerhöchste dieselbe gegenwärtig wieder in jhre Ertz-Freyheit gesetzt. Afflictionem à Regibus hat er nicht auf den König/ sondern auf die betrübte Zeiten appliciret/ benebenst die Stände zur Einigkeit ermahnet/ **und jhnen bewiesen/ daß die Versammlung zu Maspha eines Herten und Mundes gewesen ...**» (№ 116; 1668), '... и им доказывал, что собрание в Массифе было единокорным и единокорным'. В русской редакции мы находим: «... и всём народомъ поучал к соединенью **чтоб они единосердечны и словны были**» (119.213). Мы полагаем, что в целях экономии места переводчик не повторил морфему *едино-*, которая, однако, подразумевается также и перед морфемой *-словны*. В принципе это весьма хорошее решение. (Впрочем, переводчик напрасно изменил модальность: в немецком оригинале представлено изъяснительное предложение, в переводе — придаточное цели.)

Переводчик одной корреспонденции (от 16 июня 1665 г.; № 268) из амстердамской газеты показал, что он очень хорошо понимает нидерландскую фразеологию. Так, он совершенно правильно перевел выражение *met het kriecken van den dag*: «с самого утра» (27.105 и П2.69; *kriecken* – 'стрекотать'). Он также понял, что глагол *opspringen* в контексте «*euyndelick is den Admiraal sijnde een wijl doot geweest **sijn Schip op gesprongen***» следует переводить не буквальным эквивалентом с семантикой 'вскакивать, прыгать' (что привело бы к весьма парадоксальному результату: 'наконец адмирал, будучи мертвым уже некоторое время, прыгнул на свой корабль'), а переносным — 'взры-

²⁹ Очевидно, переводчику не были известны данные географические названия, так как он не исправил ошибку оригинала в «топониме» *Zlozow* – видимо, имелся в виду *Zloczow*, ныне Золочев Львовской обл. (*Zborow* – ныне Зборов – расположен в Тернопольской обл.)

³⁰ От древнерусской формы *подъшыва* возможны два рефлекса: либо *подошва*, либо *подшва* (→ *почва*).

ваться'; совершенно правильно он написал: «адмирала *ж* | Абдама убили и немного спустя того | и **карабль его взорвало**» (там же). Переводчик следующего микротекста (скорее всего тот же человек) также без проблем перевел оборот *op 't Lijf vallen* ('напасть'): «Heden quam Jan Evertsz. Vice-Admirael van Seelant/ met Capiteyn Heemskerck hier in de Stad/ en by 't Volck ken-baer geworden sijnde/ **vielen gemelde Jan Evertsz. op 't lijf ...**» (№ 270; 'когда народ его узнал, напали на него'). Переводчик XVII в. написал: «Сегодни пришол сюда зеланскои меншои адмирал | Яган Эверсонъ а с нимъ капитан Гемскеркъ | и познавъ **ево ухватили**» (27.106). Переводчик образного выражения *also een ongeluck niet alleen komt* (№ 273; 'так как беда не приходит одна') удачно употребил фразеологизм также и в русской версии: «**понеж одна беда не придет**» (25.92, а также П2.72).

Исключительно хорошую передачу нидерландского фразеологизма нашел переводчик корреспонденции из Венеции (июнь 1666 г.): «ondertusschen vreesst men/ **dat de Slange onder 't Kruyt verborgen is**» (№ 373; 'между тем опасаются, что в капусте притаилась змея'), написав «мы чаем **что се есть точию одежда | овчая под нимъ ж злыи лютыи | волкъ сокровенно пребывает**» (51.208) — т. е. он использовал совсем другой фразеологизм, знакомый ему из других контекстов (ср. Матф. 7.15: «Внемлите же *от* лживыхъ пророкъ иже приходятъ к вамъ во одеждахъ овчихъ, внутрь же суть волцы хищницы»³¹; ср. также в современном русском языке: *волк в овечьей шкуре*). Скорее всего, тот же переводчик и так же отлично перевел фразеологизм «De Cosacken versoecken hier een eygen Veltheer te moghen kiezen/ dat de Besettingen uyt de Ukraina mogen ghenomen werden/ **dat sy dan den Coningh met Goet en Bloet soudn by-staen**» (№ 374; 'казаки стремятся к тому, чтобы им разрешили выбрать собственного гетмана ... (и за то обещают), что они будут помогать королю имуществом и кровью'), из того же нидерландского газетного выпуска: «а ка|заки украинские просили чтоб | король имъ поволил между себя | изобразит своег гетмана. и чтоб | ратные полские люди из ихъ городков | выведены были, а за то они | ради за короля всѣми своими | животами и головами стоять» (51.209–210).

Ср. также из варшавской корреспонденции от 15 апреля 1668 г.: «De Tartaren zijn alreede in postuur, **omme met het eerste gras op te breecken**» (№ 443; 'Татары уже сделали приготовления, чтобы отправиться с первой травой / с появлением первой травы'): «а тата|ры извѣстно наготове стоят, и **ожидают | совершенные травы**» (88.122). Переводчик понял, что речь идет о зеленой

³¹ Библия, сирѣчь книги священнаго писания, ветхаго и новаго завѣта [Москва, 1879].

траве для лошадей после зимы и нашел, по нашему мнению, удовлетворительный эквивалент нидерландскому фразеологизму, хотя элемент значения *первой* травы у него выражен не эксплицитно. (Кроме того, *alreede* 'уже' → «известно», наверное, не самый лучший перевод.)

Приведем еще несколько примеров иностранных фразеологизмов, достаточно хорошо переданных русскими переводчиками. Сначала приводятся примеры из немецких газет, потом – из нидерландских.

Selbigen Tages hatte man in der See starck schiessen gehört/ deßfals man in Sorgen/ daß unsere Frantzösische Flotte/ so etliche 40. Kauffardey und 2. Kriegsschiffe starck ist/ **denen Engl<ischen> ins Netze gelauffen ...** (№ 12)

Г дня³² | на море великую стрелбу слышали | и для того чают что нашъ караван | М [40] караблей торговых да В [2] ка|рабля воинские агличаном в руки | попали ... (1665; 22.37)

In der Ukrayna diesseits deß Dniepers zu Rosawe sollen die Cossaggen auff den 4. dieses als übermorgen eine Zusammenkunfft halten/ umb sich einen neuen Feldherren zu erwählen/ und vermeint man/ daß der Opara so über 20000. Mann bey sich hat/ und **sich gut Königlich erkläret/** oder aber der Doro Senko so ingleichem **gut Königlich ist/** darzu gelangen dörrften/ ... (№ 35)

На Украине по сю сторону Днепра в Росаве | быт у казаков июля въ Д де раде на обирае | нового гетмана. а чають что гетманом | будет Опара, при котором К члвкъ [20 000] а держит | онъ сторону и склоняетца къ его королевскому | величеству, или Дорошенка которои також | склонен на королевскую сторону ... (1665; 29.107)

Vorgestern kamen Ihre Durch<aucht> der Hertzog von Lothringen **selb fünffte** per posta von Wien hier an ... (№ 111)

Третьего дни приѣхал сюды | его пресвѣтлость арцух | Лотринский самъ пят чрез | почту, из Вѣны ... (1668; 125.220)

... weßhalb vermuthet wird/ daß diese drey wol **unter einer Decken möchten ligen ...** (№ 179)

знатно | то что они сопча с великим везиремъ | в одной думе (1669; 180.203)

³² Видимо, «третьего дня» (в оригинале до этого речь о предыдущем дне, *vorigen Tages*).

В последнем примере обращает на себя внимание выбор совершенно другого образного плана: ‘...что они лежат под одним одеялом’ → «в одной думе».

Примеры из нидерландских газет:

Den Veltheer van de Cosacken/ genaemt Buchouetski/ [...] was nu tot Kiof wederom aengekomen/ en alle de Macht van de Cosacken by den anderen getrocken/ **om den Pool het Hoof te bieden** ... (№ 327; корреспонденция из Москвы)

Казатцкою гетман именовем Брюховетцкии [...] отпущен в Киев, чтоб воиска свои собрав. | **стоят против полского короля** (1666; 43.128)

Noch heeft zijn Ed<elheid> uitgevonden zeer heerlijke Medicijnen voor de Pest, ‘t welk aan vele Liedен die met de Pest bevangen zijn geweest, geprobeert is, **en zij zijn alle in zeer korten tijd gaande en staande genezen** ... (№ 397)

также обрел | дивные лекарства къ язvamъ моровым | которое он во время того поносу многим | людем оказывал что ходя и лежа | **тѣ люди от своих болѣзней исцелилис** (1666; 55.250)

В следующем примере из стокгольмской корреспонденции от 16 сентября 1665 г. в нидерландском оригинале нет фразеологизма: «Maer werwaerts aen het gemunt is/ **kan men noch niet weten**» (№ 291; ‘а куда [= против кого] направлены [военные приготовления], еще неизвестно’). Однако и здесь переводчик применил фразеологический оборот — по нашему мнению, тоже весьма удачно: «а куды у них намѣрено и **то бгъ вѣсть**» (30.65). Подобный случай мы отметили также в русской редакции другого текста: «soo hier van yets komt te vernemen/ **sal adviseren**» (№ 342; ‘когда будет что-либо слышно об этом, [я] сообщу’) — «а что наследовати может **то бгъ вѣсть**» (48.183). Русский фразеологизм *богъ вѣсть* в данных примерах служит только для того, чтобы сделать текст более образным.

Во всех приведенных до сих пор примерах переводчики, как представляется, выполнили свою задачу совсем неплохо. Приведем, однако, также несколько примеров, показывающих, что переводчики не всегда понимали фразеологизмы в источниках. Так, в варшавской корреспонденции от 31 декабря 1667 г. переводчик не понял немецкого фразеологизма *ein (Courier) über den andern* (№ 64; ‘один [гонимый] за другим’, т. е. гонимых было гораздо больше двух) и написал: «приѣхал гонецъ и после того другои» (65а.262). Переводчик с нидерландского столкнулся с проблемой при переводе корреспонденции из Малаги от 23 декабря 1665 г. По-видимому, он совсем не понял выражения

met haer Vijven ('пять; пятеро') в следующем контексте: «setten *met haer Vijven* daer nae toe» (№ 254; 'пять [кораблей] туда поехало'). Вероятно, он подумал, что в оригинале выпало какое-то слово, и написал ошибочно: «пять лутчихъ караблей» (14.15). Однако в оригинале нет речи о «лучших кораблях», а *просто* о пяти кораблях. Очевидно, переводчика смутило притяжательное местоимение *haer* (дословно — 'ее; их'), составляющее здесь часть фразеологической единицы. В следующем примере вызвало затруднение выражение *8000 Man sterck*: «maer de belegerde, die noch omtrent *8000 Man sterck* zijn, hadden haer dapper geresisteert: invoegen dat veel Turcken op de plaets waren doodt gebleven» (№ 477). По-видимому, переводчик неправильно понял фразу *die noch omtrent 8 000 Man sterck zijn*, обозначающую 'число которых еще составляет приблизительно 8 000 человек'. Он написал: «нши осажденные люди, которых | по то число в городе было **здоровых** | **И члвкъ** [8 000], дали тогда туркомъ | крѣпкой отпоръ, и многихъ побили». Очевидно, переводчик понял выражение *8 000 Man sterck* ('силой 8 000 человек') как *8 000 stercke Mannen* ('8 000 сильных мужчин').

Хотя недоразумения такого типа порой и встречаются, нельзя не заметить, что количество грубых ошибок при переводе иностранных фразеологизмов существенно меньше, чем в более ранних переводах, когда в русской редакции нередко на месте непонятого фразеологизма фигурирует какой-нибудь «топоним». Приведем пример из переводов 1631 г., опубликованных в первом томе В-К. Вместо предложения «Der Abt von Kempten ... **soll todts verfahren**»³³ ('кемптенский аббат (настоятель) приговорен к смерти') русский переводчик написал: «игумен Кемпетцкои³⁴ ... **в Тодес поѣ|хал**»³⁵. (Цитата взята из черновика. В чистовике данное место передано иным способом: «игумен Кемпетцкои ... в то (*Так в рки.*, тот?) ден поѣхал»³⁶, т. е. «топоним» *Todes* заменен указанием времени, 'в тот день! Это ошибка либо переписчика, либо издателей курантов – не имея доступа к рукописи, нам об этом трудно судить.)

Другой пример, тоже относящийся к 1631 г.: «Es **liegen** hier 2. Rittmeister **in Eisen**»³⁷ ('здесь два ротмистра в заключении', буквально 'лежат в железах'), в

³³ Reichs-Zeitungen, Danzig (Z 44/1631/14).

³⁴ Так в издании (В-К I: 236); в рукописном оригинале (который нам не доступен) скорее всего написано «Кемпенцкои» (выносные буквы *n* и *t* в скорописи XVII в. очень похожи).

³⁵ В-К I: 236 (л. П5.87); см. также Schibli 1988: 272.

³⁶ В-К I: 151 (л. 30.32).

³⁷ PostZeitung, Hamburg (Z 9/1631/Pr.28/3).

русской редакции: «да здѣс | **стоять** два ротмистра въ **Еи|сине**»³⁸. Корреспонденция, из которой почерпнута цитата, имеет заглавие «Auß Mülhausen vom 23. Junij» (в курантах – «Из Мельгавзена июня КВг чи|сла»), поэтому наречием *здесь* обозначен Мюльхаузен, а не какой-нибудь другой город³⁹. Такие грубые ошибки нам в курантах 1660-х годов встречались крайне редко. Сравнивая переводы, выполненные в 20–30-е годы, с переводами 60-х годов, надо признать, что за какие-то 30–40 лет общая лингвистическая подготовка переводчиков значительно улучшилась.

Обратимся теперь к переводу книги фон Вальгаузена «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Предисловие к этой книге насыщено фразеологическими выражениями, поэтому ниже из него цитируется большой связный фрагмент. В русском тексте орфография упрощается, знаки ударения не воспроизводятся, выносные буквы передаются курсивом. В словосочетаниях с предлогами предлоги пишутся отдельно от существительных, а правописание частицы *не* воспроизводит оригинал. Новая строка обозначается вертикальной чертой (|), новый абзац – двойной чертой (||).

Нидерландский текст состоит из 10 предложений, которые мы пронумеровали (цифры в квадратных скобках), чтобы легче найти соответствия в русском переводе. Нидерландские фразеологические единицы и их русские эквиваленты (в данном переводе) выделяются полужирным шрифтом⁴⁰.

³⁸ В-К I: 154 (л. 30.42); см. также Schibli 1988: 90. В указателе географических названий «топонимы» *Ейсин*, *Эйсин* возводятся к городу *Эиссен* (В-К I: 313, 321) — видимо, имеется в виду *Eissen* (теперь в земле Северный Рейн-Вестфалия). «Топоним» *Тодес* тоже фигурирует в указателе географических названий, однако без идентификации (там же: 320). См. также список других подобных ошибок, приведенный в монографии Р. Шибли [Schibli 1988: 271–273].

³⁹ В другом случае подобный фразеологизм *in Eyssen vnd Banden geschlossen* переведен более или менее правильно: «Oberster Wancke sitzt zu Leiptzig annoch/ ist *in Eyssen vnd Banden gar hart geschlossen*» (Particular-Zeitung, Z 67/1648/16/3) → «полковникъ | Ванкъ сидит в городе в Лейпциге в **желѣзах** в **большоу кре|пости**» (В-К III: 186; л. 60.44).

⁴⁰ В голландской книге весь текст предисловия напечатан курсивом, за исключением нескольких отдельных иностранных (латинских) слов. Латинские слова и выражения мы здесь передаем другим шрифтом.

Tot den goet-willighen Leser.

[1] WEet goethertige, gunstige lieve leser, dat dit eerste Boeck, belangende de Krijchs-const te voet, met haest, beyde int Drucken, ende inde Coperen Figuren veerdich te maken is **int werc gestelt geweest**, sulcx dat de Materie en alles niet in haren methodo ofte ordere, ende gelijk ick 't gaerne gehadt hadde is afghebeeldet, verhope nietemin de goedthertige Leser sal **my dat ten besten houden**, overmidts andere Authoren die van des Krijchs beendicheden yet geschreven hebben, ooc feylen hebben begaen. [2] Want ic ben om sulcken methodum te houden bewogen, **eensdeels** uyt nootwendige oorsaken, **eensdeels door gebreces des tijdts**, om dit eerste Boec mijns Tractaets, u soo concise, abruptim, cort ende goet, **ter handen te stellen**. ||

[3] Doch op dat de goetgunstige Leser wete, **wat ic** met dit mijn werc **in den sin hebbe**, sal hem dit tot ee<n> vriendelicke antwoord dienen, dewijle d'edele, hooge overtreffelicke krijchs konst ende Modus bene belli gerandi ofte maniere ende const om wel te krijgen, waer door **van den beginne 's Werelts** tot de comste onses Salichmakers, alle Monarchien, Conincrijcken, ende Heerschappyen des gantschen Aertrijcx gesocht, verkrege[n] ende behouden zyn geweest, **tot op den dach van heden**, is verborgen gebleven,

Предисловие к' добродѣтельному читателю

[1] Вѣдай добросердечный радѣтельный любителный чи|тателю, что ся первая книга о ратной пехотной | моудрости скоро в' печатв (! печать?) и фигоурами **заведена** и для | того спѣшнаго дѣла, всякое надобье не столь красно | и уставно какъ мнѣ было хотѣлося оучинено, | и поставлено. и я надеженъ что доброрадѣтелный | читатель **мнѣ того во зло не поставитъ**, потому | что иные творцы которые про ратную моудрость писали также | проступление имѣли. [2] а я такой уставъ в'скорѣ учинилъ **одну | часть** для нужныхъ причинъ, **а иное и от недостатку вре|мени**, чтобы мнѣ первую свою книгу вскорѣ и накороткѣ тебѣ | **до рукъ доставить**.||

[3] а чтобы доброрадѣтельному читателю вѣдати то, **что у меня** | симъ моимъ дѣломъ **смышлено**, и сие емоу в' дружной **отвѣтъ** | годится, потомуу, что шляхетная и высокая и предражайшая | ратная мудрость, уставы обычаи и моудрости какъ добро вое|вати чѣмъ **от начала свѣта** и по пришествии спасителя нашего | всѣ монархи и королевства и гсдрства всей вселенной иска|ны, и доступны и содержаны бывали до нынѣшняго дня | закрыто и не-явно было,

waer van ic d'oorſaken int volgende boec, genaemt Krijchsconst te Paerde u wijtloopiger **voor ooge<n> stelle**. [4] Maer tot dese enige (exempt de Theologie) ware, edele, hoochste, voortreffelickste const meer aenleydinge gegeven, in overweginge ende betrachttinghe van alle practijcken ende inventien die in den Krijchs-stant ende handel **van't begin tot dese tyden** zyn voor gevallen, op dat ick ooc beneffens andere yets profijtelicx in de<n> Krychs wetenscappe<n> mochte erlange<n> ende opresteren, beiegent, 't gene dat ee<n> Berch-scholier die beneffens andere treffelicke ervarene berch-Luyden, daer in een yegelic syn gangen Meatus onder d'aerde vlijtich houdet, opsoect ende na graeft, op dat hy onder andere veelderhande Metalen, die hem voor comen, het edelste, twelc het Gout is, mochten vinden, een ganc ende ader ongevaerlic getroffen, die hem **den wech wyst**, ende toont om 't beste ende edelste Gout te vinden. || [5] Maer dewyl ic als een Ionc noch onervaren Scholier, tegen andere treffelicke des Bergwercx ervarene Liederen te rekenen **tot dese laetste tyden** ooc in dit Berchwerck, daer in van onse Voorvaders so menich hondert Iaren met groote moeyte, **met 't wagen van lijf ende leven**, so ontallicke vele Krijchs helden hebben gearbeydet, ghesocht, ondersocht ende naghetrachtet,

и тѣ причины в' послѣдственной книгѣ | которая имянуется ратная моудрость, конныхъ людей про|страннее **пред' очми объявлю**. [4] а чтобы болши охоты имѣти о сей | единой и прямой моудрости которая опричь бѣгословии, паче | и превыше всѣхъ иныхъ мудростей, есть разсужати о всѣхъ | вымыслѣхъ и промыслѣхъ ратныя моудрости которыя моудрости | и ратныя вымыслы **от начала до сего времени** бывали, и чтобы | мнѣ такъ же подлѣ иныхъ мастеровъ которыя тоя моудро|сти изыскивали нѣчто годное, о воинской моудрости наити, | и достигнути, потомоуже какъ нѣкии рудокопнаго дѣла ученик, | подле иныхъ моудрыхъ искоусныхъ рудокопныхъ мастеровъ, | такоже счастья своего **отвѣдываетъ** и по подземелью копаеть | и со тщаниемъ ищеть, чтобы ему межъ иными рудами и драго|цѣнное золото наити, и ища с прилѣжаниемъ внезапно найдеть | ходъ и жилу которая емоу **поуть оукажетъ** какъ драгоцѣ|нное злато наити. || [5] а потому что я какъ есть молодой и не искоусной оученикъ, | передъ иными дражайшими искоусными людьми рудокопнаго дѣла | почитаюся и **в' нѣшния послѣдния времена** в семь рудокопномъ дѣле | в которомъ праотцы наши много сотъ лѣтъ с великими трудами | искали и многия несчетныя ратныя рыцари **нещадя гѣла и живо|та** своего тружались,

ooc hebbe mynen arbeyt te doen **voor genomen**, oft ic nu dat edelste Metael **te weten** 't Gout, ofte edel naem'lic 't Silver, doch yet, 't sy dan Coper, Messingh, Loot, Stael ofte Yser, ofte ooc yet 'tgheringste 't welck nutte zijn conde, mynen Heeren dien ic diene tot een recompens ofte danc vergeldinge voor de oncosten aen my gedaen mochte voor-brengen. [6] Doch dewijle ic in desen, so langhe tijdt door gearbeyden Berch werc, daer in veel gangen, holen ende Meatus van so veel treffelicke ende onuytsprekelicke ghegraven zyn, die al het Gout daer uyt genomen hebben, **ten laetsten so verre gecomen**, dat ic siende so veel voortreffelicke Berch-luyde<n> elcken sijn streec, ganc ende meatum houden, verschricht zijnde, als ee<n> onervaren Scholier, hebbe by my over gedacht, dat my eene<n> onervarenen Berch-Iongen, sulcke groote gangen ende heymelicke inventien, onmoghelic souden zyn om uyt te brengen ende te voltrecken, overdenckende myne onervarentheyt, ende cleynheyт, **hebbe by my besloten** d'oude gebaende ende nimmer gantsch vervallene, ende met vele onnutte materie volworpene ende wederom toe-gevulde ende verstopte ganghen ende meatus op te soecken, | niet twijfelende, ofte daer soude misschien noch yet van den ouden Berch Luyden in den gangen daer sy haer edele Metael tGoudt hebben vercreghen **hier ende daer** een cleyn stucxken,

и изыскивали, и я такоже **себѣ в мысль | взялъ** потружатися и поискати. и хоти драгоцѣннаго злата | или сребра не сыщу, и мнѣ бы хоти что нибуди, любо мѣдъ кра | сную или зеленую или синюю или сталь или желѣзо или хоти | нѣчто послѣднее сыскати которое бы годно было и чѣмъ бы мнѣ | гсдрю своему которому я служил за его протори которые для меня | издержаны, хоти бы мало тѣмъ пополнити или навестъ. [6] а потому | что в сей рудокопной горѣ за многое время многия мудрыя именитыя | копали многия входы и пути чинили и все злато выбрали а я **на доста|ли до того дошел** что вижю что тѣ моудрыя и именитыя рудокопныя | люди всякъ своей жилы и ходу своего держалися и я какъ есть неи|скоусныи и нез'наюшии оученикъ оужасноувся в себѣ помыслилъ, что | мнѣ молодому и не искоусному оученикоу невоз'можно дерь|зноути на тѣ великия ходы и тайныя вымыслы, потому что | мнѣ такая великия ходы и тайныя вымыслы невоз'можно | свести и не исполнити разъсуждаючи свою неискоусность и ма|ломожество. и **для того себѣ во умѣ взялъ, и на то поло|жилъся**, тѣми старыми проложенными путями которыя хоти | дополна запали, и многими не надобными не пригодными мѣрами засыпаны *отискивати* надѣяся на то что там' после старыхъ ру|докопцовъ въ тѣхъ проходѣхъ

dat sy niet geachtet hebben verborghen zijn: [7] Hebb des halven aen byden syden vande oude soo langhe vervallene ganghen op ghesocht, ende vinde een streec ofte ader die my schijnt vol van goet Gout: [8] Doch dewijle dese oude gangen soo gantsch vervallen ende vol unruymt ende allerleye onlust steken, alsoo dat 't my alleen by na ondoenlic is, of immer seer langsaem, uyt te graven, soo heb ic **voor my ghenomen**, desen seer rijcken edelen schat, daer van dat loutere fijne Gout ende Silver genoegh verborghen ende ongeachtet leynt, aen den dach te brengen, ende den selven uyt gegraven ende hervoor gearbeyt hebbende, wil ick allen treffelicken ende lange geoeffenden Berch-meesters **ter proeve stellen**, om te beproeven of dit dat edele Goudt zy, om 't welcke te vercrijghen ende te vinden onse voortreffelicke, wijse, hooch ervarene Berch-Luyden voor so veel hondert Iaren hebben gearbeydet. [9] Onder-tusschen begeere ic, sy willen my longhe arbeydende Berch-knecht desen mynen begonnen arbeydt helpen bevorderen, ende mijn welmeenende herte ten profijt van mynen Berch-Heeren aensien ende aennemen. || [10] Ende **ich hebbe** alsoo **voor my ghenomen**, d'edele, voortreffelicke, const-rijcke Krijchs-const, **te weten**, hoe dat hare wetenschap ende de maniere om wel te crijgen, die so veel hondert Iaren is verborghen gheweest ende ghemist,

из' которыхъ они драгоцѣнное | зато добывали, либо **тоуть здѣ** еще малой кусочикъ которой они | не почали остался. [7] и для того аз по обѣимъ сторонамъ тѣхъ | давных засореныхъ путей **отискивалъ** и нашоль жилу или слой которое | мнѣ кажется полно доброго золота быти, [8] толко потому | что сия старья ходы допозна обѣваалися и сорьемъ и всякою | непригодностию засорены, такъ, что мнѣ одному одва | возможно ли, и протяшко боудеть выкопывати. и **я себѣ | во умѣ в'зялъ** сию добрѣ богатую драгоую казную гдѣ много чи|стаго золота и сребра оутлено и непочтено лежить наружу вы|нести. и выкопавъ и вынося я ея всѣмъ моудрымъ и много | ученымъ рудокопнымъ мастеромъ на испытанія дати чтобы имъ | **отпытывати**, то ли есть то драгое золото которое наши имени|тыя и моудрыя и искоусныя рудокопныя люди за много сотъ лѣтъ | искали и работали. [9] а в то время мое хотѣние и желание чтобы им | мнѣ молодому рудокопному слугѣ в' семъ моемъ зачатомъ дѣ|ле помогати, и мое доброе сердце вмѣсто прибыли рудокопнымъ къ | гсдрямъ моимъ почестъ принять. [10] И такъ **я себѣ в' мысль | взялъ** чтобы тоу драгоую и надо всѣмъ моудрую и богатую ратную | мдрствъ **отвѣдати (!)** какъ бы то знатъ и обычай какъ гораздо война | *весть объявит*

<p>mach gheleert, ghevoert ende verkregen worden, mit dit Boeck als tot een in-ganck van sulck werck beghonnen inde na-volghende Boecken (indient Godt ghelieft) aen den dach te brenghen. Ende heeft de goet-hertighe Leser dese na-volghende wercken te verwachten. </p>	<p>которое много <i>сот</i> лѣтъ закрыто и тайно и не в лицах было, чтобы та ратная мѣрсть во учении и извычаи была и велася и сею книгою начало томоу дѣлу оучинилъ. и боудеть бгѣ изво лить, и я и досталныя книги объявляю, и доброрадѣтельному чи тателю тѣхъ послѣдственныхъ книгѣ ожидать. </p>
--	---

Выводы

Наше обращение к источникам русских текстов позволило установить, что в большинстве случаев иностранные фразеологизмы передавались с языка оригинала на русский весьма искусно — либо фразеологическими единицами, либо близкими по смыслу свободными словосочетаниями. Следующие обороты, встречающиеся в процитированных текстах, рассматриваются как фразеологические выражения: быть единосердечны и единословны; одна беда не придет; одежда овчая под нимъ же злыи лютыи волкъ сокровенно пребывает; стоять за кого-л. всѣми своими животами и головами; попасть кому-л. в руки; держать сторону; склоняться к кому; склонен на чью-л. сторону; самъ пят; сон безопасности; стоять наготове; в одной думе с кем-л.; стоять против кого-л.; ходя и лежа; то богъ вѣсть; во зло (не) поставить; одну часть — иное; от недостатку времени; до рук доставить; у кого-л. смышлено; от начала свѣта; объявить пред очми; в нынешнее последнее время; не щадя тѣла и живота своего; себѣ в мысль (во умѣ) взять; на то положиться; тоутъ здѣ (в смысле 'тут и там'); боудеть богъ изволить.

Однако не все фразеологические единицы бывали правильно поняты. Непонятные выражения либо передавались неправильно (например, *te weten* = 'то есть, а именно' было переведено дословным эквивалентом *отвѣдати*; *Учение*, [9]), либо просто опускались. В исследованных нами текстах такие случаи встречаются довольно редко.

Проведенное исследование дает основание заключить, что переводчики в целом весьма хорошо понимали оригинальные тексты. На основе изученного материала мы пришли к выводу, что случаи, когда иностранные фразеологизмы переданы совсем неадекватно, ошибочно, обнаруживаются главным образом в переводах газетных источников первой трети XVII в. Вместе

с тем в переводах то и дело встречаются досадные исключения, которые свидетельствуют о том, что по крайней мере в этих случаях мы не имеем дело с носителями немецкого или нидерландского языка.

По нашему мнению, недоразумения с некоторыми иностранными фразеологизмами являются еще одним показателем того, что переводчики владели иностранными языками *не* на уровне носителей тех языков. В то же время в русских текстах отсутствуют ошибки, типичные для иностранцев.

Список литературы

Источники и словари

В-К I: Вести-Куранты, 1600–1639 гг. Москва, 1972.

В-К II: Вести-Куранты, 1642–1644 гг. Москва, 1976.

В-К III: Вести-Куранты, 1645–1646, 1648 гг. Москва, 1980.

В-К IV: Вести-Куранты, 1648–1650 гг. Москва, 1983.

В-К VI, ч. 1.: (в печати): Вести-Куранты, 1656 г., 1660–1662 гг., 1664–1670 гг. Часть 1. Москва.

В-К VI, ч. 2.: Вести-Куранты 1656 г., 1660–1662 гг., 1664–1670 гг. Часть 2. Иностранные оригиналы к русским текстам. Исследование и подготовка текстов Ингрид Майер. Москва, 2008.

Gründlicher unnd Warhaffter Bericht: Gründlicher unnd Warhaffter Bericht/von dem Wundersamen Heilbrunnen...in dem Stiff Halberstadt ...entsprungen. S.l., s.a. [1646] (SLUB Dresden, Hist.urb.Germ. 723,56).

Krychs-konst te voet: Krychs-konst te voet. Waer in klaer ende duydelijck wordt aen-ghewesen [...] Ghepractiseert ende in Hooch-duytsche tale beschreven, door *Iohanni Iacobi van Walhuysen*, der loflijcken Stadt *Danswijck* bestelde Overste Wachtmeester ende Hopman &. *Ende nu alle Nederlanders, Lief-hebbers der overtreffelijcken Krijchskonst tot dienst ende lust uyt 't Hoochduyts in Nederduytsch vertaelt.* TOT ARNHEM, By Jan Jansz. Boeck-verkooper. 1617 (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, OG 69-3).

Woordenboek der Nederlandsche Taal: Woordenboek der Nederlandsche Taal op CD-Rom. Rotterdam, 2000.

Использованная литература

Бирих, Мокиенко, Степанова 1994: Александр Бирих, Валерий Мокиенко, Людмила Степанова. *История и этимология русских фразеологизмов (Библиографический указатель) (1825–1994)*. München: Otto Sagner (Specimina philologiae slavicae. Supplementband 36.)

Селиванов 1973: Селиванов, Георгий Александрович. *Фразеология русской деловой письменности XVI – XVII веков*. Автореферат дис. ... доктора филологических наук. Москва.

Bierich 2004: Bierich, Alexander. *Russische Phraseologie des 18. Jahrhunderts. Entstehung, Semantik, Entwicklung*. Frankfurt am Main – Berlin – Bern etc.: Peter Lang (Heidelberger Publikationen zur Slavistik. A. Linguistische Reihe. Band 16).

Schibli 1988: Schibli, Roland. *Die ältesten russischen Zeitungsübersetzungen (Vesti-Kuranty), 1600–1650. Quellenkunde, Lehnwortschatz und Toponomastik*. Bern etc.: Peter Lang (Slavica Helvetica. Band 29).

Tri “Hasanaginice” na švedskom

“Hasanaginica” je na švedski do sada u cjelosti prevedena tri puta.¹ Prevodioci, Samuel Ödmann (1792), Johan Ludvig Runeberg (1832), te Ulla-Britt Frankby, Gunnar Jacobsson i Bengt A. Lundberg (2007), djelovali su u tri različita razdoblja: klasicizmu, prelazu romantizma na realizam, te u moderno doba. Uloga epohe u izboru prevodilačke strategije je velika, što se vidi i u načinu na koji su ovi prevodioci prilazili svom radu. Rezultat su tri veoma različite švedske “Hasanaginice”.²

Samuel Ödmann

Ödmannov prevod “Hasanaginice”, jedan od prvih prevoda nekog južnoslavenskog književnog teksta na švedski, objavljen je u okviru prevoda “De’ Costumi de’ Morlachi”, onog poglavlja Fortisovog putopisa *Viaggio in Dalmazia 1–2* (‘Putovanje po Dalmaciji’, Venecija 1774) u kom je pjesma prvobitno i objavljena.³ Knjižica *Bref om Morlackerna*. Af Abbé Albert Fortis. Öfversatte af Samuel Ödman[n] (‘Pismo o Morlacima. Od opata Alberta Fortisa. Preveo Samuel Ödmann’), sastoji se od 64 stranice pisane tada uobičajenom goticom. Izdana je u Geteborgu 1792, samo osamnaest godina nakon objavljivanja originala. Knjižica sadrži prevodiočev uvod, prevod poglavlja koje se, kao i kod Fortisa, završava prepričavanjem sadržaja “Hasanaginice”, te prevodom teksta na švedski, pod naslovom “Skaldeqvwäde om Has-san Agas ädelsinnade Makas död” (‘Epska pjesma o smrti Hasan agine plemenite

¹ 16 stihova “Hasanaginice” preveo je poznati slavista i prevodilac Alfred Jensen u: *Från Balkan. Sydslaviska kulturskisser*, Stockholm 1917, str. 24–25.

² O švedskim prevodima “Hasanaginice” pisano je nekoliko puta. Naučni sastanak slavista u Vukove dane je 1974. godine, povodom dvjestogodišnjice prvog objavljivanja “Hasanaginice” u Fortisovom putopisu, u cjelosti bio posvećen toj pjesmi. U sklopu tog zbornika Carin Davidsson je dala lingvističku analizu Runebergovog prevoda “Hasanaginice”: “ ‘Hasanaginica’ u švedskoj verziji”, *Naučni sastanak slavista u Vukove dane*, 1974, 4, sv. 1, Beograd–Tršić–Novi Sad, str. 449–454. Mirko Rumac objavljuje u Švedskoj knjižicu *Dva stoljeća pojavnosti naše narodne poezije u Skandinavskim zemljama*, Mölndal 1987, u kojoj analizira Ödmannov i Runebergov prevod “Hasanaginice”, te govori o prevodima putem kojih su te pjesme do njih došle. Prilikom objavljivanja prevoda “Hasanaginice” čiji je autor, pored Ulle-Britt Frankby i Gunnara Jacobssona, i sam bio, Bengt A. Lundberg je objavio i svoje tumačenje pjesme, vlastitih prevodilačkih strategija, te ranijih prevoda na švedski: *Hasanaginica. Hasanagas hustru*. I ny svensk översättning av Ulla-Britt Frankby, Gunnar Jacobsson och Bengt A. Lundberg. Med kommentarer av Bengt A. Lundberg, Gusli 14, Göteborg 2007.

³ Alberto Fortis: *Viaggio in Dalmazia* (Venecija 1774), München 1974, I, str. 43–105.

supruge'). Za razliku od Fortisa koji svoj prevod nadopunjuje cjelokupnim tekstom pjesme u originalu, Ödmann to ne čini: on daje samo švedski prevod uz napomenu da ne smatra da je potrebno navesti i "ilirski" tekst. Kao predložak Ödmann je imao, kao što je Rumac dokazao, anonimni prozni prevod na francuski iz 1778, koji je nastao na osnovu Fortisovog italijanskog prevoda.⁴

Samuel Ödmann – sveštenik, prirodoslovac, prevodilac, te pisac i kompozitor psalama – autor je ovog prvog prevoda "Hasanaginice" na švedski. Vezan za bolnički krevet četrdeset pet godina Ödmann je gajio poseban interes za putopise: marljivo je pročitao sve poznate putopise od XVI vijeka do njegovih dana i preveo četrdesetak istih. Prevodi su slobodni, često se tačnije radi o preradi nego o prevodu teksta.⁵ Glavni cilj tog obimnog prevodilačkog rada bio je odvratiti omladinu od štetnosti čitanja romana.⁶ Diljem Švedske Ödmannovi putopisi postaju rado čitano štivo.

Prevod "Hasanaginice" treba gledati u svjetlu cjelokupnog Ödmannovog prosvjetiteljskog rada u kom putopisi zauzimaju značajno mjesto: primaran nije bio prevod pjesme, već prevod putopisa. U predgovoru Ödmann pjesmu ne spominje ni jednom riječju, već ističe želju da svojim prevodom Fortisovog putopisa upozna svoje švedske čitaoc sa "evropskim, ali kod nas potpuno nepoznatim narodom". Pjesma je tek način da se bolje predoče običaji tog naroda.

Ödmann versifikuje prozni francuski tekst stvarajući potpuno novu strukturu: njegov prevod je slobodan, a pjesma izdjeljena u deset strofa s različitim brojem stihova u svakoj strofi (5–23). Dijalozi su naglašeni uvučenim pasusima, a 92 stiha originala⁷ ovdje su prepjevana u 123 stiha različitih dužina, od 3 do 12 slogova.

⁴ Rumac, str. 9 i dalje. Ödmannov izvor je dakle bio *Voyage en Dalmatie par M. L'Abbé Fortis*, I, Berne 1778 ili separat o Morlacima iz istog djela *Lettre à Mylord Comte de Bute sur les mœurs et usages des Morlaques*, Berne 1778.

⁵ C. V. Böttigers *minnesanteckningar öfver E. Tegnér, S. Ödmann och J. H. Kellgren*, red. Peter Bagge, Stockholm 1895 (1867), str. 62: "Većinu od njih on je preobukao u švedsko odijelo, nije prevodio u uobičajenom smislu, već sažimao i samostalno prepravljao i time činio knjigu u njenoj švedskoj formi često mnogo poučnijom i čitljivijom nego u njenoj prvobitnoj." ('En mängd av dessa klädde han nu i svensk dräkt; han öfversatte dem ej i vanlig mening, men sammandrog och bearbetade dem sjelfständigt och gjorde därigenom boken i dess svenska form ofta mer lärorik och lättläst än i dess ursprungliga.')

⁶ Gunnar Brusewitz: *Från Olof Rudbeck till Olof Thunman*, Uppsala 1998, str. 40 i dalje.

⁷ Iz Fortisovog italijanskog prevoda jasno se vidi da je st. 59, "Dug pul'duvak nosi na djevojku", ponovljen kao st. 65, ali ga je on kada je navodio pjesmu originalu previdio. Time bi pjesma zapravo trebala imati 93 stiha. Taj stih se nalazi u "Splitskom rukopisu" "Hasanaginice" koju je Franc Miklošič objavio 1883. u raspravi "Ueber Goethe's Klaggesang der edlen Frauen des Asan-Aga", preštampana u *Hasanaginica 1774–1974*. Prepjevi, varijante, studije, bibliografija. Priredio Alija Isaković, Sarajevo 1975, str. 328–340. Treba napomenuti da je Miroslav Pantić dao značajne argumente protiv Miklošičeve tvrdnje da je Fortis preuzeo pjesmu direktno iz tog rukopisa već da su oba prepisa nastala na osnovu nekog zajedničkog ranijeg izvora koji je izgubljen. Miroslav Pantić: "Problem 'Hasanaginice' u zapisima Ivana Meštrovića i Matije Murka", *Naučni sastanak slavista u Vukove dane*, str. 310–312.

Prevod dakle značajno odstupa od forme francuskog proznog prevoda, ali se, za razliku od Goetheovog prevoda, ne oslanja niti na ilirski original koji se također nalazi u Ödmannovom predlošku niti na Fortisovu napomenu da su morlačke pjesme ispevane u nerimovanom desetercu.⁸ Ödmann također ne zamjenjuje metar nekim drugim analognim metrom koji je mogao naći u švedskoj poeziji tog perioda: odnos prema formi je potpuno proizvoljan i određen prevodiočevim tumačenjem pjesme i osjećajem za njen ritam.

Prevod Fortisovog rezimea, "Argomento", neposredno prije prevoda "Hasanaginice" utiče kako na tumačenje teksta tako i na Ödmannov prevod: Fortis naglašava kako Hasanaginica ne dolazi agi "zadržana stidom koji nama djeluje čudan".⁹ To sporno mjesto "Hasanaginice", pitanje zašto Hasanaginica ne posjećuje svog bolesnog muža ("Oblaziga mater, i sestriža, / A Gliubovza od stida ne mogla", st. 8–9), otvara mogućnosti za čitav niz različitih tumačenja.¹⁰ Slijedeći anonimni francuski predložak Ödmann u svom prevodu ima još jedan stih – deseti – koji se može iščitati kao odgovor Fortisovom komentaru o stidu "koji nama djeluje čudan":

- | | |
|--|---|
| 10 Gerna hade hans maka der wisat sig, | Rado bi se njegova supruga tamo pokazala, |
| 11 Men anständigheten tillåter det icke. | Ali joj pristojnost to ne dopušta. |

Ödmann dakle u svom prevodu pokušava odgovoriti na problem koji Fortis postavlja u svojim komentarima: ispunjenje Hasanagine želje ne bi bilo pristojno. Nedolazak se dakle, kao što je Lundberg uočio, ovdje motiviše socijalnim tabuom.¹¹ Sličan uticaj na percepciju djela, ali i na Ödmannov prevod, imaju i drugi Fortisovi komentari: otpuštena od muža i kod brata koji želi da je uda, Hasanaginica moli brata da joj to ne čini jer još uvijek "voli svog bivšeg muža i djecu." Na kraju je ubija "gubljenje čovjeka koga ona, neovisno o njegovom grubom ponašanju, još uvijek voli i koji voli nju [...]". Fortis, dakle, nadopunjuje nedorečena mjesta pjesme, te time utiče na čitaočevu interpretaciju, a kako je Ödmannov prevod objavljen u sklopu prevoda cjelokupnog Fortisovog poglavlja o Morlacima, taj uticaj na čitaoca postoji i ovdje.

⁸ *Bref om Morlackerna*. Af Abbé Albert Fortis. Öfversatte af Samuel Ödman[n], Göteborg 1792, str. 53.

⁹ *Ibidem*, str. 61: "tillbakahållen af en blygsamhet, som förefaller oss besynnerlig."

¹⁰ Opširan izbor iz rasprava na tu temu se može naći u već navedenim jubilarnim djelima *Hasanaginica 1774–1974* i *Naučni sastanak slavista u Vukove dane*; također: Hatidža Krnjević: *Živi palimpsesti*, Beograd 1980, str. 64–108.

¹¹ V. *Hasanaginica*. *Hasanagas hustru*, str. 29, fusnota 19.

Lundberg s pravom naglašava kako Fortis pruža slična nadopunjavanja i u svom prevodu pjesme kroz niz dodatnih pridjevskih i priloških odrednica koje nemaju ekvivalent u originalu, a koji se kasnije mogu uočiti gotovo u svim prevodima nastalim preko Fortisa, pa tako i u anonimnom francuskom prevodu koji je Ödmann koristio kao predložak.¹² Time Fortisov prevod i prevodi nastali iz njega postaju znatno sentimentalniji nego morlački original uklapajući se u predromantičarsku estetiku, istovremeno objašnjavajući nejasna mjesta pjesme.

Ödmann vjerno prenosi sadržaj i smisao teksta osim u dva slučaja, kada u 62. stihu koji u originalu glasi “Kad Kadii bjela Kgniga doge” zamjenjuje riječ kadija sa “Hassan” (84. stih), te prevodom “srca argiaskoga” (88. stih u originalu), kod Fortisa “arrugginito cor”, te “un cœur d’airain” u Ödmannovom francuskom predlošku sa doslovnim, ali nešvedskim *hjerta af koppar*, ‘srce od bakra’ (117. stih kod Ödmanna).¹³ Prevod titule *kadija* je nekonsekventan: on se označava i kao *Cadi* (st. 63, 71) i kao *Kadi* (st. 91).

Prevođenjem *svati* kao *riddare*, ‘vitezovi’, prevod se približava tradiciji zapadnoevropskih srednjovjekovnih balada. Ta tendencija se pojačava i time što se *le Beg Pintorovich*¹⁴ iz anonimnog francuskog prevoda ovdje prevodi kao *Pintorowich Försten*, ‘knez Pintorović’: evropske i turske titule – Hasanaga se dva puta označava kao *aga* (u rubrici pjesme i u 7. stihu) – time se slobodno miješaju.¹⁵

Zaključno možemo konstatovati da je Ödmannov prevod najprije parafraza teksta koja prenosi radnju pjesme, ali bez vođenja računa o njenim formalnim karakteristikama. Klasicizam je, kao što je Holmes primjetio, zahtijevao prilagođavanje prevoda esteticima i estetskim normama ciljne publike. Ideal je zato bio prevod ideja i značenja djela, dok se njegova forma rijetko rekonstruisala jer je razvijenost žanrovskog sistema teško dopuštala nove i nepoznate forme.¹⁶ Tekstovi se prilagođavaju čitaocu i njegovoj kulturnoj sferi, a prevod zasniva na principima analogije: izbor metra je određen žanrovskom pripadnošću teksta u književnom sistemu nove kulture, a ne metrom originala. Izborom slobodnog metra stvorenog prema sopstvenom načelu Ödmannov tekst donekle odudara od prevodilačkih normi tog doba. Izbor se može objasniti položajem koji “Hasanaginica” zauzima u njegovom prevodilačkom radu: pjesma je data tek kao ilustracija usmene baštine tog “evropskog, ali nama potpuno nepoznatog naroda.”

¹² Ibidem, str. 10–11, 54–55.

¹³ Vidi: Rumac, str. 15.

¹⁴ Pošto se na tom mjestu kod Fortisa Pintorović ne označava kao beg, titula je najvjerovatnije preuzeta iz morlačkog originala. V. *Hasanaginica. Hasanagas hustru*, str. 63.

¹⁵ *Hasanaginica. Hasanagas hustru*, str. 63.

¹⁶ James S. Holmes: “Forms of Verse Translation and the Translation of Verse Form”, *The Nature of Translation*, red. James S. Holmes, Bratislava 1970, str. 97.

J. L. Runeberg

"Hasanaginica" je jedan od prvih prevoda koje je finski pisac švedskog porijekla J. L. Runeberg štampao u listu *Helsingfors Morgonblad* čiji je urednik bio u periodu od 1832. do 1836. Prevod "Klagosång öfver Hassan Agas ädla Maka" ('Žalosna pjesma o Hasan aginoj plemenitoj supruzi') izašao je 6. 2. 1832. i preštampan je godinu dana kasnije sa manjim preradama u Runebergovoj drugoj zbirci pjesama *Dikter*, 'Pjesme'.¹⁷ U svom književnom listu Runeberg štampa vlastite pjesme i priče, kritičke članke i prevode. Godine 1832. gotovo isključivo prevodi usmene pjesme: engleske, finske, grčke, grenlandske, litvanske, madagaskarske, mađarske, njemačke, poljske, ruske, sicilijanske, škotske, španske, te nekolicinu južnoslavenskih pjesama. Prevodi su uglavnom rađeni prema drugom izdanju Herderove antologije *Volkslieder*, objavljene u Uppsali 1815. godine pod nazivom *Stimmen der Völker in Liedern*. U uvodnom tekstu namjenjenom prevodima nekoliko usmenih pjesama sa Madagaskara, on ističe:

Urednik je i ranije davao uzorke pjesama necivilizovanih naroda, ali ne misli da bi još jedan dodatak u tom smislu umorio one čitaoce lista, za koje čisto ljudsko, u kojem se god obliku pojavilo, sadrži nešto visoko i uzvišeno. Što se mene tiče, mislim da takve pjesme daju jasniju sliku običaja, života, religije i suštine jednog naroda nego što to dugački putopisi i često još duže moderne poeme ikad mogu učiniti.¹⁸

Za Runeberga je, dakle, usmena poezija bila izvor saznanja o drugim narodima, svrha prevođenja je – kao i kod Ödmanna – u prvom redu didaktička i pedagoška. Međutim, Runebergov prevod "Hasanaginice" se ne može isključivo posmatrati kroz tu didaktičku prizmu.

Runebergov interes za južnoslavensku usmenu književnost probuđen je još 1828. kada mu je u ruke dopao Goetzeov njemački prevod *Serbische Volkslieder*: Oduševljen, Runeberg odmah počinje da prevodi pedeset osam pjesama iz Goetzeove zbirke na švedski, te da sam piše u istom tonu i stilu. Zbirka prevoda *Serviska folksånger*, 'Srpske narodne pjesme' izlazi krajem 1830. godine. Prevodi imaju jasnu političku pozadinu: paralele između dva pokorena naroda – Srbije

¹⁷ Prevod "Hasanaginice" Davidsson pogrešno smješta zajedno s Runebergovim tri godine ranije objavljenim prevodima *Serviska folksånger* koji se pored toga netačno označavaju kao švedski prevodi Goetheovih – a ne Goetzeovih – njemačkih prevoda. Davidsson, str. 449–454.

¹⁸ *Helsingfors Morgonblad*, 98, 21/12 1832: "Red. har förut anbragt prof af ocultiverade folkslags sånger, men tror dock att ett ytterligare tillägg i detta afseende ej skall trötta dem af bladets läsare, för hvilka det rent menskliga, i hvad form det än må uppenbara sig, äger något högt och upplyftande. För min del tycker jag att sådana stycken klarare ge bilden af ett folks seder, lif, religion och väsende än långa resebeskrifningar och ofta ännu längre moderna poemer någonsin mäkta göra."

u Osmanskom carstvu i Finske, koja je od rata 1808–09. godine bila dio Rusije – nametale su se same od sebe. Runebergov vlastiti ciklus “Idyll och epigram”, ‘Idile i epigrama’ objavljen iste godine u njegovoj prvoj zbirci pjesama *Dikter*, ‘Pjesme’ svjedoči o uticaju južnoslavenske usmene književnosti na pjesnikov književnoumjetnički rad.

“Hasanaginica” je drugi put objavljena kao integralni dio Runebergove druge zbirke pjesama, a njena recepcija će biti obilježena i uticajem koji je imala na Runebergove pjesme poput “Grafven i Perrho”, ‘Grob u Perou’, jednog od ključnih tekstova kojima je Runeberg zauzeo položaj nacionalnog pjesnika Finske. Kao i prevod “Hasanaginice”, i “Grafven i Perrho” počinje slavenskom antitezom, a pisan je u petostopnom nerimovanom troheju.

Runebergov prevod “Hasanaginice” zasniva se na Geteovom nepotpisanom prevodu štampanom u Herderovim *Volkslieder* “Klaggesang von der edlen Frauen des Asan-Aga”, koji je raden prema Werthesovom prevodu na njemački iz 1775. godine. Za razliku od Werthesa koji je kao predložak isključivo koristio Fortisov italijanski prevod, Goethe je konsultovao i originalni tekst “Hasanaginice”.¹⁹

Pitanje da li je Runeberg bio upoznat sa Herderovim *Volkslieder*, a time, dakle, i sa “Hasanaginicom” u Goetheovom prevodu – još prije čitanja Goetheovih prevoda ili ne, još uvijek je otvoreno: dok veći dio istraživača smatra da je Runeberg zasigurno čitao Herdera još u svojim studentskim danima ili bar 1828. godine,²⁰ drugi tvrde da se to desilo tek 1832.²¹ U svojoj biblioteci Runeberg je imao primjerak Herderovih *Stimmen der Völker in Liedern*, ali se ne može posve sigurno reći kada je taj primjerak nabavljen. Ukoliko i nije sam čitao Herdera prije *Serbische Volkslieder*, bio je upoznat sa njegovim radom, a napomenu o njemu je

¹⁹ Johan Gottfried Herder: *Volkslieder*, 1. Theil, Leipzig 1778, str. 309–314. O Goetheovom prevodu vidi: Milan Čurčin: *Srpska narodna pesma u nemačkoj književnosti*, Beograd 1987 (Leipzig 1905), str. 50f.; Miloš Trifunović: “Geteov prepev Hasanaginice”, *Hasanaginica 1774–1974*, str. 102.

²⁰ Mortensen tvrdi da je čitanje Herdera bilo važan poticaj Runebergu prilikom recepcije Goetheovih prevoda. Johan Mortensen: “Till Runebergs förebilder”, *Samlaren*, 25, 1904, str. 87. Nakon kritike koju je dobio povodom te tvrdnje, Mortensen je u svom drugom radu na istu temu znatno pažljiviji u svojoj ocjeni Runebergovog odnosa prema Herderu i govori o uopštenom uticaju Herderove estetike na Runeberga. Johan Mortensen: “Till Runebergs förebilder än en gång”, *Samlaren*, 29, 1908, str. 154. Sverker Ek, Gunnar Castrén, Erik Ekelund, Inger Haskå i Johan Wrede smatraju Runebergovo poznanstvo sa Herderom još za njegovih studentskih dana vjerovatnim. Sverker Ek: “Den första Idyll och epigram-cyklens tillkomstshistoria”, *Historiska och litteraturhistoriska studier*, 13, Helsingfors 1937, str. 11; Gunnar Castrén: *Johan Ludvig Runeberg*, Stockholm 1962, str. 28; Erik Ekelund: *Finlands svenska litteratur*, 2, Stockholm 1969, str. 37; Johan Ludvig Runeberg: *Samlade skrifter*, XIII:II: “Kommentar till Runebergs lyriska översättningar”, red. Inger Haskå, Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet XVI, Lund 1982, str. 121; Johan Wrede: *Världen enligt Runeberg*, Helsingfors & Stockholm 2005, str. 155.

²¹ Gunnar Tideström: *Runeberg som estetiker. Litterära och filosofiska idéer i den unge Runebergs författarskap*, Helsingfors 1941, str. 223f.

mogao naći i u Goetzeovoj zbirci: u svojim prevodilačkim komentarima Goetze naime spominje Herderov prevod pjesme o Milošu Obiliću i Vuku Brankoviću.²² Goetze u predgovoru spominje Forisa i Hasanagicinu, međutim, sasvim je moguće da je tek jedan od recenzenata Runebergovih prevoda *Serviska Folksånger* skrenuo njegovu pažnju na tu pjesmu:

Ali najdragocjeniji probu iste poezije dala je žalopojka mula [sic!] Hasan Agine supruge, koju je Goethe dao po Fortisovom majstorskom predlošku.²³

Iako anonimni recenzent izričito naglašava da su pjesme koje je Herder uključio u svoju zbirku preuzete iz zbirke Andrije Kačića Miošića, te da je "Hasanagicina" nastala prema Goetheovom prevodu pjesme objavljene u Fortisovom putopisu iz Dalmacije, Runeberg označava svoje prevode "Pisme od Radoslava"²⁴, "Pisme od Sekule, Jankova netjaka, divojke Dragomana i paše Mustaj-bega"²⁵ i "Hasanagicine" ne kao morlačke pjesme – kako su one označene u Herderovoj antologiji – već kao "srpske". Time je Runebergov prevod "Hasanagicine", koji on štampa bez nekog posebnog uvoda ili komentara, svojim podnaslovom "srpska pjesma" stavljen u kontekst njegovih dvije godine ranije objavljenih prevoda *Serviska folksånger*.

Zahvaljujući Goetheovoj za to vrijeme neuobičajenoj težnji da obraća pažnju na formu originala, Runebergov predložak je bio mnogo bliskiji originalu nego Ödmannov: premda nije poznavao jezik originala već kao osnovu koristio Werthesov prevod pjesme na njemački, Goethe je nastojao rekonstruirati originalni tekst i njegove metričke obrasce, te prevodi u petostopnom troheju, preuzima originalna imena, vodi računa o epskom ponavljanju itd.²⁶ Poput svih ostalih prevoda koji vode porijeklo iz Fortisovog prevoda, i Goetheov prevod, a kasnije i Runebergov rađen na osnovu Goethevog, sadrže rad dodataka, koji tekst čine sentimentalnijim od originala.²⁷

²² *Serbische Volkslieder ins Deutsche übertragen von P. von Goetze*, St Petersburg & Leipzig 1827, str. 219.

²³ *Helsingfors Tidningar*, 15, 23/2 1831: "Men den kostligaste försmak av samma poësi gaf Mullen Hasan Agas makas klagan, som Goethe framdrog efter Fortis' mäterliga förebild."

²⁴ "Radoslaus", *Helsingfors Morgonblad*, 78, 1/10 1832.

²⁵ "Den vackra tolken", *Helsingfors Morgonblad*, 10, 7/2 1834.

²⁶ Uporedi: Čurčin, str. 54.

²⁷ *Hasanagicina. Hasanagas hustru*, str. 54–55. Lundberg posebno ističe sljedeća mjesta: *dies harte Wort* (st. 14), *voller Schmerzen* (st. 15), *Aengstlich* (st. 19), *Weinend bittre Thränen* (st. 20), *jammernd* (st. 24), *den Trauer-Scheidbrief* (st. 32), *im bitteren Schmerz* (st. 36), *der ungestüme Bruder* (st. 37), *mit der bangen Frauen* (st. 39), *in ihrer Witwen Trauer* (st. 43), *weinend* (st. 46), *meiner lieben / Armen Kinder* (st. 49–50), *Meine lieben Waisen* (st. 61), *Traurig* (st. 72), *vor der lieben Thüre* (st. 75, 77), *den armen Kindern* (st. 78), *hülflös* (st. 81), *gar traurig seinen lieben Kindern* (st. 84), *ihr lieben armen Kleinen* (st. 85), *dem bangen Busen* (st. 90). Runebergov prevod sadrži navedena sentimentalna mjesta.

Kao i u ranijim Runebergovim prevodima, i ovdje se može uočiti njegova i težnja doslovnog praćenja predložka riječ po riječ, te zadržavanja formalnih odlika teksta. Posebnu pažnju Runeberg posvećuje metrici prevodeći deseterac nerimovanim petostopnim trohejem, metrom koji je još nakon čitanja Goetzeove zbirke prihvatio kao svoj i uveo u švedsku književnost. Pjesmu dijeli na 13 strofa od 2 do 14 stihova. Podjela na strofe uglavnom prati Goetheovu podjelu, ali ne uvijek, što se može uočiti i u ranijim Runebergovim prevodima pjesama iz Goetzeove zbirke u kojima je podjela pjesama na strofe često bivala proizvoljna.²⁸ Vjernost predlošku je inače velika, tako da je tekst jednako udaljen od originalnog teksta koliko i Goetheov. Figure ponavljanja – prvenstveno aliteraciju i anaforu, koje je pažljivo rekonstruisao još kada je prevodio pjesme iz Goetzeove zbirke, Runeberg i ovdje nastoji da zadrži.²⁹

Prateći Goethea, Runeberg ne pokušava objasniti razlog Hasanagičinog nedolaska već samo konstatuje nedolazak ima veze sa stidljivošću:

- | | |
|--|--|
| 9 Schamhaft säumt sein Weib zu ihm zu kommen | Stidljivo okleva njegova žena da mu dođe ³⁰ |
| 9 Blygsamt dröjer hans gemål att komma. | Stidljivo njegova supruga čeka da dođe |

I Goetheov *schamhaft* i Runebergov *blygsamt* mogu se, kao što Lundberg naglašava, tumačiti kao Hasanaginičina osobina: razlog nedolaska leži dakle potpuno u njoj samoj, nevezano za neke eventualne socijalne tabue.³¹

Riječ *svati* Runeberg, kao i Fortis i Goethe, ostavlja neprevedenu i bez dodatnih objašnjenja. Poznavao je njegovih ranijih prevoda ona je već bila poznata: u komentarima objavljenim u *Serviska folksånger*, među kojima su se nalazile i dvije svatovske pjesme, Runeberg je dao kratko objašnjenje srpskih svadbenih običaja.³²

Ni iz Goetheovog, ni iz Runebergovog prevoda ne proizilazi da je beg Pintorović beg, već se on označava samo kao Hasanaginičin brat. Hasanaginicu, Goethe označava kao *Fürstin*, 'kneginja' (st. 66). Time se Hasanaginičin socijalni status mijenja, a balada, kao i kod Ödmana, približava tradiciji zapadnoevropske

²⁸ Sonja Miladinović: "Slučaj Goetze i Runeberg: Prijevod usmenog teksta", *Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15–21 August 2003* (= *Slavica Lundensia Supplementa* 2), red. Birgitta Englund Dimitrova & Alexander Pereswetoff-Morath, Lund 2003, str. 83.

²⁹ Ibidem.

³⁰ Prevod: Branimira Živojinovića. Ćurčin, str. 71.

³¹ *Hasanaginica. Hasanagas hustru*, str. 29, fusnota 19.

³² J. L. Runeberg: *Samlade skrifter*, IV:II: "Lyriska översättningar", red. Sven Rinman, Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet XVI, Helsingfors 1962, str. 72.

srednjovjekovne balade. Lundberg naglašava da tim postupkom i Hasanaga dobija titulu *Fürst*, 'knez' što čitalac lako iščitava kao rang viši od Hasanaginičinog brata.³³ Runeberg zadržava Goetheove titule, te ih prevodi kao *aga*, *furste* i *furstinna*. Imotski kadija se konsekvantno označava kao *Imoskis Cadi*.

U svom prevodu Runeberg pomno, riječ po riječ, prati Goetheov prevod koji je koristio kao predložak. Prelaz sa klasicizma na romantizam se u prevodilaštvu odrazio u promjeni odnosa prema prevodilačkom radu.³⁴ U oba perioda prevodioci teže ka ekvivalentnosti sadržaja, ali pošto se prevodioci koncentrišu na različite lingvističke nivoe, to čine na različite načine. Elementi koje prevodioci koriste iz svog izvornika, *the unit of translation*, 'prevodilačka jedinica',³⁵ se razlikuju, a taj izbor je uvjetovan dominantnim estetskim tokovima datog trenutka. Dok su u doba klasicizma prevodioci u načelu nastojali da tekst približe čitaocima, kako bi se kod njih, u novoj kulturi, izazvao efekat identičan onom koji je tekst imao u izvornoj kulturi, zbog čega je prevod težio ka analognom prenošenju većih struktura teksta kao što su fraze, rečenice ili neke druge veće jedinice, u romantizmu prevodioci nastoje zadržati što više elemenata originala i tako približiti čitaoca originalnom tekstu kroz mimetički prevod riječi i gramatičkih struktura, pogotovu obraćanjem posebne pažnje na formu i metar teksta.³⁶ Taj princip je očit u cjelokupnom Runebergovom prevodilačkom radu, pa tako i pri prevodu "Hasanaginice".

Ulla-Britt Frankby, Gunnar Jacobsson i Bengt A. Lundberg

Treći prevod "Hasanaginice" na švedski jezik izlazi 215 godina nakon prvog prevoda, i ovaj put u Geteborgu. Stvaranje novih država na Balkanu krajem XX vijeka pruža južnoslavenskoj književnosti novi kontekst i podstiče rast interesovanja za nju. Sva tri prevodioca, Ulla-Britt Frankby, Gunnar Jacobsson i Bengt A. Lundberg, vezana su za Katedru slavenskih jezika na Geteborškom univerzitetu i 1994. godine su zajedno preveli "Ribanje i ribarsko prigovaranje" Petra Hektorovića. Po prvi put "Hasanaginica" se prevodi na švedski sa jezika originala. Pored prevoda, publikacija sadrži i komentare Bengta A. Lundberga o pjesmi i prevodilačkim strategijama, korištenim u vlastitom prevodu uz osvrt na Ödmannov i Runebergov raniji prevod.

Kao i Goethe i Runeberg, i Frankby, Jacobsson i Lundberg obraćaju posebnu pažnju na deseterac koji pomno prevode na švedski. Premda Lundberg u komentarima izričito naglašava da cezura nakon četvrtog stiha nije u potpunosti

³³ *Hasanaginica. Hasanagas hustru*, str. 55.

³⁴ Holmes, str. 97.

³⁵ "[...] the linguistic level at which ST [source text] is recodified in TL [target language]"; M. Shuttleworth & M. Cowie: *Dictionary of Translation Studies*, Manchester 1997, str 192.

³⁶ Holmes, str. 97.

rekonstruisana, od nje se odstupa samo u četiri stiha. Pjesma nije podjeljena u strofe.

Polazeći od originala, treći prevod “Hasanaginice” ne sadrži dodatne pridjevske i priloške odrednice koje nalazimo u Fortisovom italijanskom prevodu i prevodima proisteklim iz njega. Zahvaljujući tome prevod Frankby, Jacobssona i Lundberga je znatno umjereniji i manje sentimentaln od ranijih prevoda.

Motivacija Hasanaginičinog nedolaska je jače naglašena nego kod Runeberga: Hasanaginica ne dolazi “od stida”:

- 9 Men för skammen hustrun kunde A od stida supruža ne mogla
inte.

Orijentalizmi *aga*, *beg*, *kada*, *kadija* i *kula* su ostavljeni neprevedeni. *Svati*, koje Fortis, Goethe i Runeberg ostavljaju neprevedene, prevode se na švedski sa (*brud*)*svenner*.

Pri prevođenju direktno sa originala dolazi do problema izbora originalnog teksta koji, kao što je poznato, sadrži više nejasnih mjesta. Kod Ödmanna i Runeberga, taj izbor su za njih uradili raniji prevodioci, ovdje to čine Frankby, Jacobsson i Lundberg. U komentarima uz prevod Lundberg naglašava da su uglavnom pratili redakciju pjesme koju je Isaković etablirao u svom jubilarnom izdanju iz 1975. godine.³⁷ Prevodiočev izbor utiče na tumačenje teksta, a to se posebno vidi kada se uporede “tamna”, nejasna mjesta pjesme gdje švedski prevodioci daju različita rješenja.

Jedno od nejasnih mjesta nalazi se u 18. stihu kada Hasanaginica začuvši jeku oko dvora bježi “da vrät lomi kule niz penxere”. Usporedba tog spornog mjesta s mojim povratnim doslovnim prevodima na naš jezik u tri data prevoda izgleda ovako:

Ödmann:

- 22 Förtwiflad löper hon omkring, Očajna ona bježi okolo
23 at afhända sig lifwet, da si oduzme život
24 at nedstörta sig genom fenstrens da se surva niz prozorske rešetke
galler.

³⁷ Alija Isaković: “Hasanaginica”, *Hasanaginica 1774–1974*, str. 427–432. Razlike između Isakovićeve verzije i teksta koji su Frankby, Jacobsson i Lundberg koristili kao predložak se ograničavaju na nekoliko detalja: švedski prevodioci se odlučuju za *labudovi* umjesto *labutovi* (st. 4–5), *dve* umjesto *dv’je* (st. 9, 34, 69), *Od’jelit’ se* umjesto *Odijeliti* (st. 36), “*Da najveće imotski kadija*” umjesto “*A najveće imotski kadija*” (st. 45), *ćere* umjesto *ćerce* (st. 69), te da prateći “Splitski rukopis” “Hasanaginice” dodaju stih 65: “Dug pul’duvak nosi na djevojku”.

Runeberg:

18 Och till tornet sprang, att ned sig I ka kuli pobježe, da se dolje surva
störta.

Frankby, Jacobsson i Lundberg:

18 Huvudstupa fly från kulans Vratolomno pobjeći niz prozore
fönster. kule

Dok Ödmann i Runeberg na osnovu svojih predložaka navedeno mjesto tumače kao pokušaj samoubistva, Frankby, Jacobsson i Lundberg biraju Isakovićevo tumačenje da je u pitanju "samo vratolomno bježanje niz kulu".³⁸

Praćenje Isakovićevo teksta je posebno bitno u slučajevima kada se on razlikuje od teksta originala koji je Fortis objavio. Jedno od tih spornih mjesta pjesme je poklon koji Hasanaginica ostavlja najmlađem sinu, koje kod Fortisa glasi: "A malomu u besicje sinku / Gnemu saglie uboske hagline" (st. 83–84). Isaković prihvata objašnjenja Franca Miklošiča i Vatroslava Jagića i preinačuje stih u "A malomu u bešici sinku, / Njemu šalje u bošči haljine", što Frankby, Jacobsson i Lundberg prevode "Åt den yngste sonen i dess vagga / sist hon sänder kläder i ett knypte" (st. 83–84).³⁹ Prevod možemo uporediti sa ranijim prevodima na švedski: Ödmann "Åt den oskyldiga i waggan / Sänder hon en mantel" (st. 112–113: 'nevinom u koljevci / Ona šalje mantil'). Goethe ima dodatak "für die Zukunft" koji ne postoji u originalu niti u Fortisovom prevodu: "Gab sie für die Zukunft auch ein Röckchen", koji Runeberg dalje prevodi na "Gaf hon för en framtids dar en tröja" ('dala mu je za budućnost majicu'), dodatno pojačavajući konačnost rastanka.

Objašnjenja mutnog "serza argiaskoga" (st. 88) u originalu koji Fortis navodi su mnoga: Vuk je u svojoj verziji "Hasanaginice" predložio "srca kamenoga", Miklošič daje oblik "orjatskoga, horjatskoga", dok Meštrović i Ćurčin smatraju da se pridjev treba iščitati kao "rdavskoga".⁴⁰ Švedski prevodioci i ovdje prate Isakovićev oblik "srca hrđavskoga", a na švedski ga prevode na opisan način:

8 Högmod endast bor i hennes Oholost samo ona ima u srcu
hjerta

³⁸ Isaković, str. 430, fusnota 6. *Hasanaginica. Hasanagas hustru*, str. 31, fusnota 21.

³⁹ Isaković, str. 432.

⁴⁰ Ibidem, str. 432.

Od svoga bilježnja, "Hasanaginica" je pripisivana dijelu i srpske, i hrvatske i bošnjačke baštine. Vuk Karadžić ju je 1814. pripisao "Srbima muslimanske vjere", dok su je vezanost za Imotski, te oblici Asanaga i Asanaginica upućivali na hrvatsko porijeklo.⁴¹ Lundberg zato u svojim komentarima smatra neophodnim da istakne da je u vrijeme kad Bošnjaci "izlaze iz svoje nacionalne anonimnosti, izgleda važno da joj [baladi prim. prev.] se prizna njeno pravo porijeklo."⁴²

Fokus Lundbergovog tumačenja je zasnovan na čitanju teksta iz ugla šerijatskog prava, čije je elemente u ovoj pjesmi prvi rekonstruisao Mehmed Begović.⁴³ Po šerijatskom pravu brak se može raspustiti po muževljevoj želji iako je žena nedužna, a djeca u tom slučaju pripadaju ocu.⁴⁴ Majka još uvijek može dobiti mogućnost da vodi brigu o djeci, ali preudajom se ta mogućnost u principu gubi: to je i razlog što Hasanaginica moli brata da je ne daje za drugoga. Žena i djeca su, međutim, "žrtve bračne politike čiji je cilj bilo stvaranje povoljnih alijansi u klanovskoj borbi za moć i uticaj."⁴⁵ Druga važna osnova na kojoj počiva Lundbergovo tumačenje jeste nejednaka klasna pripadnost glavnih protagonista – suprotstavljanje bega i age: "Nije ono babo Asan-ago / Vech daixa Pintorovich Bexe" (st. 21–22): Hasanaginica dakle potiče iz begovske porodice, a udata je za agu. Pjevač dodatno ističe njeno porijeklo: "Dobra kado i od roda dobra" (st. 46).⁴⁶ U predlošku koji su švedski prevodioci koristili i u prevodu ta razlika je jasno iskazana:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 21 "Nije ovo babo Hasanaga, | Ej vår fader, Hasanaga, är det, |
| 22 Već daidža Pintorović beže." | Utän Pintorović beg, vår morbror." |

Titule *beg* i *aga* koje se zadržavaju u švedskom prevodu omogućavaju kompleksnija tumačenja pjesme – klasna suprotnost između begovske i aginske porodice se ne može uočiti ni u Ödmannovom ni u Runebergovom prevodu. Da bi se pjesma u sredini koja ne poznaje niti pravne odnose niti navedene socijalne razlike doista

⁴¹ Uporedi: *Povijest hrvatske književnosti*, Knjiga I: "Usmena i pučka književnost", napisale Maja Bošković-Stulli & Divna Zečević, Zagreb 1978, str. 256.

⁴² *Hasanaginica. Hasanagas hustru*, str. 13. ('I en tid då dessa [bošnjaci SM] träder fram ur sin nationella anonymitet ter det därför angeläget att den [balada SM] tillerkänns sin rätta härkomst.')

⁴³ Mehmed Begović: "Kako razjasniti izvjesne stavove u baladi o Hasanaginici sa gledišta šerijatskog prava", *Naučni sastanak slavista u Vukove dane*, str. 319–322.

⁴⁴ Hatidža Dizdarević Krnjević navodi kao analogan primjer i pjesmu iz *Erlangenskog rukopisa (Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama*, Sr. Karlovci 1925, br. 6). Hatidža Dizdarević Krnjević: *Utvä zlatokrila. Delo, tvornost, tradicije*, Beograd 1997, str. 21.

⁴⁵ *Hasanaginica. Hasanagas hustru*, str. 47. ('[...] redskap och offer för en giftermålspolitik som syftade till fördelaktiga allianser i klanernas kamp om makt och inflytande.')

⁴⁶ V. Muhsin Rizvić: "Socijalni aspekti usmene balade o Hasanaginici", *Naučni sastanak slavista u Vukove dane*, str. 325–337.

mogla objasniti na taj način, uz prevod se naravno moraju ponuditi i dodatna objašnjenja, koja Lundberg pruža putem svojih komentara u kojima se klasna razlika ističe kao centralna tema pjesme: glavna tema nije "taj iz nejasnog razloga propali brak niti opustošena ljubav između muža i žene", već Hasanaginičina tragedija majke koja zbog klasnih suprotnosti biva odvojena od svoje djece i čiji su pokušaji da joj se omogući da im i dalje pokazuje ljubav i vodi brigu o njima uzaludni.⁴⁷

Treći prevod "Hasanaginice", prvi put rađen sa jezika originala i uz konsultacije sa opširnom literaturom o pjesmi, otvara mogućnosti za nova tumačenja pjesme. Time je švedska "Hasanaginica" dobila nove dimenzije. Prevod pokazuje porast odgovornosti i zahtjeva koji se danas stavljaju pred prevodioca: pored tačnog prevoda i sadržaja i forme, od prevodioca se danas očekuje i poznavanje naučne literature i različitih interpretacija teksta, te kompetentno zauzimanje stava prilikom tumačenja spornih mjesta.

⁴⁷ *Hasanaginica. Hasanagas hustru*, str. 35. ('[...] inte det av oklar orsak havererade äktenskapet och den föröddade kärleken mellan man och hustru [...]').

Małgorzata Anna Packalén

Nieobecna obecność: kobieca mimikra literackiej konwencji na przykładzie wybranych utworów Nataszy Goerke i Olgi Tokarczuk

Kultura szlachecka, która w dużym stopniu ukształtowała polską mentalność społeczną, w równie dużym stopniu przyczyniła się do utwierdzenia tradycyjnego sposobu widzenia i traktowania kobiety i jej roli w społeczeństwie polskim. Szczególnie obecne w świadomości społecznej przekonanie o niepodważalnym charakterze tego, co przywykło się w naszej kulturze określać jako “naturalną” rolę kobiety, a przez co rozumie się jej biologiczne posłannictwo, symbolizowane i konkretyzowane przez ciążę i macierzyństwo, jest nadal znamienne dla roli i pozycji kobiety w Polsce.

Do jakiego stopnia tradycja ta nadal jest silna wskazuje wypowiedź sprzed dwóch lat śp. Papieża Jana Pawła II-go na temat tzw. “radikalnego feminizmu”¹ Według Ojca św. feminizm ów powoduje “sprzeczności między płciami, zagrażając bytowi tradycyjnej rodziny.² Co więcej – “Bagatelizowanie różnic między kobietą a mężczyzną może mieć poważne konsekwencje na wielu poziomach.”³ Za szczególnie niepokojące odbierane są, jak podkreśla papież w swej wypowiedzi, próby stworzenia rodziny naruszającej konstrukcję kobieta–mężczyzna i zastąpienia jej rodziną, gdzie tworzą ją osoby tej samej płci. W takiej sytuacji, jak stwierdził z naciskiem Ojciec św. – “Rola kobiety jako matki musi być szczególnie strzeżona i traktowana jako przedmiot najwyższej uwagi”⁴

Widać tu wyraźnie, jak duży wpływ na sytuację i pozycję kobiet w Polsce mają obowiązujące kody kulturowe oraz – w jeszcze większym stopniu – religijne. Głęboka cześć dla Marii Panny, Bogurodzicy, należy tu do najbardziej znamienych narodowych symboli, podobnie jak miłość do ojczyzny. Stąd też zapewne kobieca symbolika “macierzyństwa” zawiera specyficznie “rodzimy” element, mianowi-

¹ Podaję za przedrukowaną w czołowym dzienniku szwedzkim wypowiedź Ojca św., pt.: “Påven: Feminismen fara för familjen”, [Papież: feminizm jest zagrożeniem dla rodziny], *Dagens Nyheter* 2004-07-13 (TT-Reuters); [tłum. z j. szwedzkiego moje – M.A.P].

² Ibidem.

³ Ibidem.

⁴ Ibidem.

cie silnie w polskiej historii i kulturze zakodowany symbol “Matki Polki”. Spełniając się nie tylko w służbie macierzyństwa, ale też w służbie narodu, stanowi tym samym silnie emocjonalnie i symbolicznie naładowaną metaforę zarówno miłości matczynej, jak i miłości ojczystej.⁵

Tak pojęty sposób postrzegania kobiety, jej cech i roli, jakie narzucają jej kody społeczno-kulturowe, znajduje swe odzwierciedlenie w utworach literackich. Kobieta jest tam najczęściej wynoszona na ołtarzu miłości, wiary czy poświęcenia w służbie narodu lub też – na odwrót – silnie demonizowana z racji swych kobiecych właściwości. Równie często jest też potępiana za próby wyrwania się z kręgu ucisków i przesądów związanych z jej płcią, wynikających z hierarchii wartości i sposobu myślenia patriarchalnej kultury. Wygląda bowiem na to, że przeciętny tradycyjny polski czytelnik (oraz krytyk) nie lubi zbyt drastycznych tematów i radykalnych przewartościowań tradycyjnych norm i wartości w literaturze.

Dowodem na to jest dyskusja w polskich kręgach kulturowych, kiedy to krytyka literacka usiłuje zdefiniować charakter współczesnej prozy pióra kobiet ostatnich dziesięcioleci. Proza ta przechodzi bowiem proces “prze definiowania” samej siebie w sposób, który nie zawsze idzie w parze z oczekiwaniami recenzentów, zwłaszcza starszej generacji. Szczególnie wizerunek kobiety, jaki kreuje w swych powieściach generacja pisarek lat 80-ych i 90-ych, takich jak Izabela Filipiak, Manuela Gretkowska, Olga Tokarczuk, Natasza Goerke i inne, nie ma, z tradycyjnego punktu widzenia biorąc, swego odpowiednika w polskiej literaturze. Chodzi tu bowiem nie tylko o coraz bardziej w tych utworach zaznaczaną postawę oporu wobec polskich patriarchalnych stereotypów kulturowych oraz męskich i męskocentrycznych systemów hierarchii i wartości ocen, ale też o znamieny fakt, że pisarki te świadomie biorą w posiadanie do niedawna jeszcze nie dostrzegany czy pomijany zakres tematyczny, mianowicie całą sferę tzw. “kobiecości”. Dystansując się od tradycyjnych wymagań i zabiegów, pisarki te tworzą własne strategie narracyjne, potrzebne do podejmowania teźże właśnie sfery tematycznej. Strategie te znamionuje swoista “mimikra”. Pisarki kamuflują mianowicie swoje zaangażowanie w problemy kobiecego świata, ukrywając je pod ochronnym płaszczkiem przeróżnych narracyjnych i językowych chwytów.

Używam tu terminu “mimikra” za francuską feministką Luce Irigaray, która pod pojęciem “mimikra” czy “mimesis/mimetism” rozumie strategię polegającą na tym “że podejmuje się i piętnuje pewien problem, poprzez strategiczne powielanie go w danym tekście. W ten sposób można odsłonić różne pokłady znaczeniowe oraz ich signifikacje związane z pojęciem ‘kobieta’, odsłaniając jednocześnie obszar al-

⁵ Piszę o tym szerzej w artykule: Packalén, M.A., 2004, “‘Komża i majtki’ czyli prowokacja tradycji w polskiej literaturze współczesnej”, *Teksty Drugie* IBL PAN 6, s.157–173.

ternatywnych możliwości i uosobień pojęcia ‘kobiecość’ we wcześniejszych upostaciowaniach.”⁶

W niniejszym artykule chciałabym pokazać to zjawisko, skupiając się głównie na pisarstwie Nataszy Goerke i Olgi Tokarczuk. Obie należą do tej samej generacji pisarskiej, obie zajmują też w swych utworach stanowisko wobec nowych feministycznych trendów w literaturze polskiej, różni je natomiast krańcowo odmienny sposób podejmowania wspomnianej już problematyki tzw. “kobiecej”.

Utwory Nataszy Goerke⁷, to krótkie realistyczne opowiadania i nowele, po części śmieszne, po części tragicomiczne. Są one w wysokim stopniu anty-epickie i anty-narracyjne. Filozoficzne dywagacje i problemy oddane są językiem potocznym, wręcz kolokwialnym, granicząc nierzadko z absurdem. Opowiadania te często są trudne do zinterpretowania, przynajmniej jeśli przyłożyć do nich tradycyjną literacką miarkę. Szczególnie niekonwencjonalnie wypadają na tym tle polskie mity narodowe i kulturowe, zwłaszcza przyodziane w absurdalną szatę i wrzucone do jednego worka z paradoksalnymi i absurdalnymi anegdotami.

Natasza Goerke jest raczej mistrzynią małych form narracyjnych. Funkcjonują one na zasadzie swoistych “fractale”⁸, a więc – na podobieństwo wzorów matematycznych – jednostek przywracających porządek w chaosie, właśnie po to, by symbolizować i przywracać normy, wartości i porządek w człowieczym chaosie naszych czasów. Nie bez kozery zatem wiele z tych opowiadań traktuje o niedopasowaniu uczuć i nieustannym rozmijaniu się wzajemnych oczekiwań. Punktem wyjścia jest w nich zarówno gra językowa, jak i zamiana ról bohaterów czy zderzenie dwu różnych kultur oraz niekonwencjonalna gra psychologiczna.

I tak np. tomik pt. *47 na odlew*, to zbiór opowiadań miłosnych czy raczej zbiór niekonwencjonalnych anty-miłosnych opowieści, w których głównymi bohaterami są na ogół mężczyźni. Książka ta wydaje się jednak być, wbrew pozorom, jednym długim niekończącym się opowiadaniem o kobiecie, której wizerunek jest symptomatyczny dla sposobu widzenia świata jego autorki i zgodny z jej strategią narracyjną. Goerke dystansuje się bowiem wobec szablonowego i potocznego obrazu kobiety i kobiecości. Wybierając dla pierwszoosobowej narracji zamiast żeńskiego (co wydawałoby się naturalne) męski rodzaj gramatyczny, Goerke wprowadza tym samym w tok opowiadania męski paradygmat i sposób myślenia. Ponieważ

⁶ [...] “revisiting and burning up the old through a strategic use of repetition, working through the sedimented layers of meaning and signification surrounding the notion of Woman, opening up spaces for alternative figurations of the feminine within the previously fixed ones” [w:] Irigaray, L., 1985, *This Sex Which Is Not One*, trans. Catherine Porter & Carolyn Burkes, Ithaca, New York, s. 76–77; [tłum. z j. angielskiego moje – M.A.P].

⁷ Natasza Goerke (ur. 1962), najważniejsze utwory, to: *Fraktale* (1994), *Księga paszтетów* (1997), *Pożegnanie plazmy* (1999), *47 na odlew* (2002).

⁸ Pierwszy zbiór opowiadań nosi właśnie ów znamienity tytuł: *Fractale* (1994).

gramatyka języka polskiego różni się w tym względzie od innych języków, wiele z subtelnych i drobiazgowych zabiegów znika niestety w tłumaczeniu na inny język – tak np. było w przypadku języka angielskiego czy szwedzkiego. Przekaz utworu jest jednak jasny: wszystkie stereotypy na temat płci i role społeczne z tym związane, narzucone nam przez daną kulturę, są natury konwencjonalnej, a przez to wysoce iluzoryczne. W ogromnym stopniu ograniczają one wolność kobiet, dlatego też trzeba je wydobyć na światło dzienne i poddać nieubłaganej deszyfracji.

Deszyfracja Goerke jest nieubłagana, wręcz wyrafinowana. W konsekwencji tych zabiegów otrzymujemy niezbyt pochlebny dla kobiet wizerunek: bezbarwne i odindywidualizowane, rzadko wywołują one inne uczucia niż łagodną pogardę ze strony mężczyzn, z którymi styka je los. Mężczyźni ci nie mają też żadnych oporów w wyrażaniu – jawnie i bez skrępowań – swego lekceważącego wobec nich stosunku, jak np. bohater jednego z opowiadań zbioru *47 na odlew*:

[Wołga] pracowała w muzeum, a duszę miała bardziej nawet prostą, niż początkowo sądziłem. Urodzona pod smętnym znakiem Panny, ucieleśniać zdawała się całą nudę wszechświata, a jej brak inwencji w każdej dziedzinie stwarzał niepowtarzalne pole dla własnych działań. Wypuściłem pąki, zakwitłem i wolny od werterowskich cierpień płąsałem po ogrodach miłości z bestroską przynależną pustym sercom. [...] ⁹

Pozbawiona jakichkolwiek indywidualnych oznak osobowość Wołgi pozwala mężczyźnie z czystym sumieniem wyzwolić się ze wszelkich potencjalnych obowiązków, miłosnych zobowiązań i skrępowań, zwłaszcza że, jak sarkastycznie mówi sam o sobie bohater opowiadania, szczęśliwie wolny jest on “od werterowskich cierpień”. Większość literackich postaci Goerke żyje w podobnie pozbawionych miłości czy kontaktu związkach. Właśnie oddanie braku więzi duchowej między ludźmi, braku komunikacji, zwłaszcza między kobietą a mężczyzną, to jeden najważniejszych przekazów i jednocześnie imperatywów moralnych twórczości Goerke. Przekonana o słuszności i konieczności rozsadzenia stereotypowanych ram, Goerke nie boi się wręcz przekarykaturować marzeń o miłości i oczekiwań ludzi wobec nich. Dlatego postaci jej opowiadań to często postaci androgeniczne. W ten sposób Goerke konsekwentnie i skutecznie deszyfruje tradycyjne przekonania o wyższości i niepodważalności heterogenicznych relacji, jakie narzucają nam wymogi naszej kultury. Jednocześnie zaś pisarka poddaje karykaturze nawet i te stereotypy, tzn. owe homoseksualne i androgeniczne idee i trendy, które – zdaniem niektórych współczesnych socjologów – mają w przyszłości zastąpić tradycyjne

⁹ Goerke, N., 2002, *47 na odlew*, Warszawa, s. 24–25.

seksualne i rodzinne związki. W noweli pt. "Widelcowanie"¹⁰ na przykład główny bohater, Lucjan, desperacko poszukuje napięcia i nowych podniet w życiu miłosnym. Pewnego dnia spotyka wreszcie kobietę swoich marzeń: jest nią –

[...] Salomea W., eklektyczna niewiasta o kształtach Gertrudy Stein, umyśle markiza de Sade i manierach głodnego Rskolnikowa; obserwując, jak taranuje biustem staruszka i z niewzruszoną twarzą miażdży stopę płaczącemu w tramwaju chłopcu, Lucjan zakochał się w niej na miejscu. Dal-szy ciąg potoczył się błyskawicznie: już przy pierwszym pocałunku Salomea odgryzła mu obie wargi, krótko potem wyznała, że jest mężczyzną, a jeszcze potem, w przerwach pomiędzy walcowaniem a dęciem, przybi-jała go widelcem do wewnętrznej ściany lodówki i uciekała z kochanką.

Powoli życie Lucjana Bruzdy na powrót zaczynało nabierać kolorów, rozchmurzył się, rozbłyszczał; półżywy ze szczęścia łapał tasak, wybie-gał z lodówki na ulicę i szukając Salomei sapał: Kochana, uch, kochana.

Miał ją właśnie poślubić, ale, niestety: w przededniu ceremonii roztrza-skał się na betonie wraz z podpłowanym przez Salomeę balkonem.¹¹

Ironia, parodia i sarkazm Goerke nigdy nie są tak wyraźne, jak wtedy, kiedy wyła-puje ona wszystkie możliwe absurdy w relacjach międzyludzkich. Znamienny jest jednak w tym kontekście fakt, że bohaterowie jej opowiadań to najczęściej oso-by samotne, w sensie dosłownym i w przenośni. Przeciętnie uzdolnione i szare, tylko pasywnie uczestniczą one w biegu życia i jego wydarzeniach. Właśnie stu-dium tych "nie-istnień" (w aktywnym tego słowa znaczeniu) to ciągle powracają-cy motyw narracji Goerke, zarazem też wdzięczny obiekt jej gorzkiej ironii i sar-kastycznych refleksji. Postacie literackie jej nowel wybierają i świadomie hołubią swą pasywność, jak też widoczny brak społecznych korzeni. Ich światy wewnętrz-ne dominują często świat zewnętrzny, przez co problem "otsiderostwa", to kolej-ny leit-motiv w tych utworach.

Szczególnie kobieca akceptacja własnego niejako "nieistnienia" to jeden z naj-ważniejszych czynników narracji Goerke. Akceptacja, której rezultatem jest latami skrywana złość i frustracja. Kapitulacja zewnętrzna prędzej czy później prowadzi do wewnętrznego zgorzknienia bohaterów czy raczej bohaterek – jak to określa jedna z nich: "... choć [...] dawno już pogodziła się z własnym nieistnieniem, w głę-bi duszy odczuwała potwierdzającą owo istnienie wściekłość."¹²

Ostrej karykaturze poddaje pisarka zwłaszcza utwierdzone tradycją przekonanie, że najważniejszym celem i wyznacznikiem kobiecego szczęścia jest jej wkład w ży-cie i sukcesy jej męża i rodziny. Sarkazm i ironia Goerke są najbardziej widoczne

¹⁰ Goerke, N., 1997, "Widelcowanie", [w:] *Księga pasztetów*, Poznań, s. 44

¹¹ Ibidem, s. 44.

¹² Goerke, N., 1999, "Gasnący blask", [w:] *Pożegnanie plazmy*, Czarne, s. 20.

właśnie wtedy, kiedy przedstawia ona kobietę w roli opiekunki domowego ogniska. Jedna z postaci kobiecych w *Fractale* tak oto sama siebie reklamuje:

Jestem doskonałym ucieleśnieniem archetypicznej kobiecości: pokorna, wyrozumiała; do śmierci gotowam pana inspirować i wcale nie musi się pan obawiać konkurencji na polu ducha, ma siła bowiem nie w walce, a w rodzeniu światła w pańskiej męskiej duszy. [...] Nie jestem może urodziwym wampem z pana młodzieńczych snów, panie L., ale jakże za to wspańiale wypiekam szarlotki. I serniki, i pączki, i powidła, wszystko potrafię: wypiec, wygotować, wyszorować. A jak wypiorę, to aż razi, a jak wykręcę, to sam pan nie pozna!¹³

Trudno o bardziej karykaturalny obraz “idealnej” żony. W podobny sposób Goerke odnosi się do instytucji macierzyństwa, skupiając uwagę raczej na minusach tego stanu niż plusach, nie oszczędzając przy tym uświęconego tradycją symbolem Matki-Polski.

Nie ulega wątpliwości, że to właśnie kobiece role społeczne poddane są w utworach Goerke najbardziej kłującej ironii. Znamienne jest jednak to, że stereotypy te widziane są i karykaturyzowane głównie z męskiej perspektywy. Być może dlatego postaci kobiece w utworach Goerke to albo niedojrzałe dziewczynki, żyjące w świecie nierealnych oczekiwań i fantazji, marzące o wielkiej miłości albo też pasywne, nudne istoty, w pełni zasługujące na pogardę okazywaną im przez mężczyzn.

Za przywołaną wcześniej Luce Irigaray można by powiedzieć, że Goerke reprezentuje “the female mimicry of male discourse” i w ten sposób – przy pomocy tego rodzaju mimesis (czy raczej parodii tejże) rozbija patriarchalną logikę. Jak bowiem podkreśla Irigaray – świadoma gra z mimesis pozwala kobietom poprzez tego typu dyskurs odzyskać część wyeksploatowanej przestrzeni, a jednocześnie chroni je przed zredukowaniem ich do tej właśnie karykaturowanej przez nie roli.¹⁴

Ale czy Goerke rzeczywiście tak właśnie to robi? Nie jestem o tym do końca przekonana. Dobitna i przekonująca krytyka, jakiej Toril Moi poddaje wywody Irigaray – zwłaszcza jeśli idzie o posługiwanie się mimikrą w sposób, który sprawia, że przestaje ona być odbierana jako właśnie taka – rzuca inne światło na tę strategię narracyjną: mamy tu do czynienia już nie tylko z przedstawionymi

¹³ Goerke, N., 1994, *Fractale*, Poznań, s. 111.

¹⁴ “To play with mimesis is thus, for a woman, to try to recover the place of her exploitation by discourse, without allowing herself to be simply reduced to it” [w:] Irigaray, L., *This Sex Which is Not One*, op. cit., s. 76, [tłum. z j. angielskiego moje – M.A.P].

w krzywym zwierciadle wytworami męskich absurdów, ale przede wszystkim z doskonałą reprodukcją owych poddanych karykaturze wzorców.¹⁵

Czy Goerke reprodukuje w swych utworach te właśnie wzorce? Czy utwory te obnażają i rozbijają czy też umacniają struktury i tradycje patriarchy? Pozostawiam to pytanie jako otwarte, pozwolę sobie jednak stwierdzić, że – moim zdaniem – Goerke, na przekór wszelkim paradoksom, robi obie te rzeczy. Nie waham się jednak umieścić jej pisarstwa w nurcie utworów przeciwstawiających się czołowej polskiej tradycji literackiej, z nieśmiertelnym obrazem Matki Polki na honorowym miejscu, nawet jeśli stanowisko, jakie zajmuje pisarka, na pierwszy rzut oka wydaje się być dwuznaczne czy wieloznaczne, jak również podporządkowane męskim paradygmom rozumowania.

Pisarstwo Goerke różni się zdecydowanie od pisarstwa Olgi Tokarczuk, podporządkowanego tradycyjnym normom literackim.¹⁶ Świadoma niesprawiedliwości wynikających, jak pisze, z “nierówno i niechlujnie podzielonego świata”,¹⁷ również i Tokarczuk mówi w imieniu “kobiecości”, ale między wierszami raczej niż wprost, bardziej implicite niż explicite. Tym aspektem “kobiecości”, które tak umiejętnie i konsekwentnie wyszydza Goerke, Tokarczuk przydaje całkiem inny wymiar – chociażby przez podanie ich z zupełnie odmiennej, psychologiczno-mitologiczno-metafizycznej perspektywy.

Może właśnie dlatego Tokarczuk nie wzbudza nigdy niechęci krytyków. Z drugiej strony biorąc trudno czuć się sprowokowanym przez powieści, które – mimo “kobiecej” tematyki, perspektywy i metaforyki – są w swym założeniu i przekazie tak tradycyjnie męskokocentryczne, jak powieści Tokarczuk. Nawet jeśli, podobnie jak Goerke, pozwala ona swoim postaciom w trakcie przebiegu powieściowych zdarzeń zmieniać płeć (jak to np. robią Agni i Paschalis w powieści *Dom dzienny, dom nocny*), nie posługuje się motywem androgenicznym w celu sparodiowania czy skarykaturyzowania tego zjawiska. W noweli “Wyspa”¹⁸ na przykład główny bohater, ocalały z katastrofy na statku i wyrzucony na brzeg bezludnej wyspy, znajduje łódź z martwą kobietą i niemowlęciem. Ratuje życie dziecku dzięki temu, że nagle w jego piersiach pojawia się mleko, może więc dziecko nakarmić. Ta niezwykle sugestywna w swym przekazie opowieść jest odzwiercied-

¹⁵ “[...] the mimicry fails because it ceases to be perceived as such: it is no longer merely a mockery of the absurdities of the male, but a perfect reproduction of the logic of the Same” [w:] Moi, T., 1995, *Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory*, London and New York, s. 142; [tłum. z j. angielskiego moje – M.A.P].

¹⁶ Olga Tokarczuk (ur. 1962), najważniejsze utwory, to: *Podróż ludzi Księgi*, 1994, E.E. 1995, *Prawiek i inne czasy*, 1996, *Szafa*, 1998, *Dom dzienny, dom nocny*, 1998, *Gra na wielu bębenkach*, 2002.

¹⁷ Tokarczuk, O., 1998, *Dom dzienny, dom nocny*, Wałbrzych s. 104.

¹⁸ Tokarczuk, O., 2002, *Gra na wielu bębenkach*.

leniem przekonania pisarki o tym, że nie można ludzi dzielić wyłącznie według kryteriów biologicznych: wszyscy nosimy w sobie cechy i właściwości zarówno kobiece, jak i męskie.

Motyw ten ma w utworach Tokarczuk jeszcze inny, dodatkowy, silnie symbolicznie naładowany wymiar. Zmiana płci jako temat-motyw pojawia się w różnych wcieleniach w literaturze od zarania dziejów, głównie jako środek do ujawnienia właściwej osobowości danego indywiduum. Problem tożsamości jako taki zajmuje ważne miejsce również w pisarstwie Tokarczuk. “Większość ludzi zmagają się z tym problemem” – mówi pisarka w jednym z wywiadów. “Koniec końców to my sami odpowiadamy za kreację nas samych”.¹⁹ Skryta czy tajna tożsamość, zwłaszcza kobieca, jako że łatwiej jej zniknąć w tłumie anonimowych kobiet, należy do najbardziej charakterystycznych i ciągle powracających motywów pisarstwa Tokarczuk.

Jedynym wspólnym mianownikiem wszystkich ludzi obu płci, acz reprezentujących różne kultury, jest dzieciństwo, ale też i przede wszystkim, narodziny. Stąd motyw ten, tzn. początek życia i związane z tym jego misterium, zajmuje w powieściach Tokarczuk – w przeciwieństwie do Georke – szczególne miejsce. Tokarczuk nie waha się w sposób realistyczny i naturalistyczny oddać aktu narodzin – porodu, jak np. w powieści *Prawiek i inne czasy*:

Znowu przyszedł ból i Kłoska zaczęła krzyczeć. Krzyczała tak głośno, że zatrzęsły się ściany zwałonego domu i spłoszyły się ptaki, a ludzie grabiący siano na łące podnieśli głowy i przeżegnali się. Kłoska zakrztusiła się i połknęła ten krzyk. Teraz krzyczała do środka, w siebie. Jej krzyk był tak potężny, że brzuch się poruszył. Kłoska poczuła między nogami coś nowego i obcego. Uniosła się na rękach i spojrzała w twarz swojemu dziecku. Oczy dziecka były boleśnie zaciśnięte. Kłoska zapała się jeszcze raz i dziecko się urodziło.²⁰

Tokarczuk nie przedstawia w swych utworach macierzyństwa jako dożywotniego poddaństwa w służbie narodu, jak to ma miejsce w prozie Goerke. Wręcz przeciwnie – traktuje misterium narodzin z całkowitą powagą, jako że kobiecości przypada w tym kontekście najważniejsza rola. To właśnie macierzyństwo daje kobiecie nie podlegającą dyskusji tożsamość. Stąd Tokarczuk nie waha się przydać temu biologiczno-fizjologicznemu zjawisku mitologicznego, a nawet religijnego wymiaru:

¹⁹ Tokarczuk w wywiadzie z: Jasinska Brunner, E., *Allt om Böcker* nr 2, 2002; [tłum. z j. szwedzkiego moje – M.A.P].

²⁰ Tokarczuk, O., 1996, *Prawiek i inne czasy*, Warszawa, s. 20.

Anioł widział narodziny Misi zupełnie inaczej niż położna Kucmerka. Anioł w ogóle wszystko widzi inaczej. Anioły postrzegają świat nie poprzez fizyczne formy, w które on wciąż pączkuje i które sam niszczy, ale poprzez ich znaczenie i duszę.

Anioł przypisany Misi przez Boga widział zbolale i i zakłęśnięte w sobie ciało, falujące w bycie niby gałganek – to było ciało Genowefy, która rodziła Misię. A Misię anioł widział jako świeżą, jasną i pustą przestrzeń, w której za chwilę pojawi się oszołomiona, na wpół przytomna dusza. Kiedy dziecko otworzyło oczy, anioł stróż podziękował Najwyższemu.²¹

Na swój dyskretnie ironiczny sposób Tokarczuk dystansuje się jednak wobec tradycyjnego i niemal zbanalizowanego ideału Matki Polki, jak np. w *Prawieku*, kiedy dwie ciężarne kobiety rozmawiają o zbliżającym się porodzie i mówią: „Nam [...] potrzebne są córki. Gdyby wszystkie naraz zaczęły rodzić córki, byłby spokój na świecie.”²² Bo oczywiście nie wolno nam ani przez chwilę zapomnieć, że Matka-Polska to przede wszystkim matka synów.

Goerke i Tokarczuk: proza anty-epicka kontra epicka. Ich postacie kobiece mają w każdym bądź razie jedną cechę wspólną: żyją w społeczeństwie rządonym przez mężczyzn. Bolesnie świadome tego faktu obie pisarki podejmują, przekazują i bronią istoty kobiecości w swoich utworach – choć każda na swój sposób. Obie zdają sobie sprawę z ciężaru tradycji, pod którym ugina się polska literatura. Stosowane przez nie strategie narracyjne mają na celu odsłonięcie stereotypów związanych z płcią, podważają też wzorce kulturowe – jednym słowem prowokują „męskocentryczne” przekonania i normy, które w dalszym ciągu stanowią w Polsce zarówno punkt wyjścia, jaki i miarkę, według której ocenia się wartość literacką utworów.

Nasuwa się tutaj mit o Perseuszu, który, wysłany po głowę Meduzy, zdobył ją tylko dzięki temu, że przystępując do walki z Gorgoną wpatrywał się nie w nią, co – jak pamiętamy – groziło przemienieniem się w kamień, ale w jej odbicie w tarczy, którą się ochraniał. Posługując się tym porównaniem można powiedzieć, że Goerke i Tokarczuk jedyną możliwość odsłonięcia i deszyfracji przestarzałych wzorców deprecjonujących kobietę, widzą w przypuszczeniu ataku na ich odbicie w zakorzenionych w kulturze i społeczeństwie stereotypach myślenia, dotyczących różnych ról społecznych w zależności od płci i narodowych mitów, wśród których zwłaszcza Matka-Polka ma swoje zaszczytne i niepodważalne miejsce. Biorąc na siebie ową w pewnym sensie prometejską rolę mówienia w imieniu kobiet i ko-

²¹ Ibidem, s. 12.

²² Ibidem, s. 11.

biecości, Goerke i Tokarczuk przyjmują bez wahania owe zbanalizowane szablony za swoich przeciwników.

Jednocześnie zaś same posługują się ochronnymi manewrami, dystansując się w ten sposób wobec opisywanej rzeczywistości. Ich kobieca “mimikra” wyraża się jednak – co starałam się pokazać – na różne sposoby. Goerke świadomie przyjmuje dla narracji swych utworów perspektywę męską. “To wielkie nieszczęście być kobietą, ale jeszcze większe być mężczyzną widzianym oczyma kobiet”,²³ napisał kiedyś filozof Henryk Elzenberg i aforyzm ten tarafnie symbolizuje wyrafinowaną grę Nataszy Goerke z kulturowymi stereotypami: poprzez pokazanie kobiety z męskiej perspektywy widzenia wyszydza ona w ten sposób wszystkie męskie przekonania i zbanalizowane wzorce dotyczące kobiet i kobiecości. Owa mimikra, poprzez którą Goerke dystansuje się wobec tychże wzorców, pozwala jej przekraczać granice ustalonej przez kulturę i tradycję kobiecej przestrzeni, przez co wszystkie kulturowe absurdy jawią się nam w maksymalnie jaskrawym świetle.

Inaczej Tokarczuk. Sposób, w jaki odnosi się ona do patriarchalnych stereotypów i męskich sposobów oceny, zaliczyć można do strategii “nieagresywnej”, będącej niemal na granicy przymilania się czytelnikowi. Nie znaczy to, że Tokarczuk nie podejmuje walki z krzywdzącymi kobiety powszechnymi stereotypami, jednak robi to inaczej: jej mimikra polega na świadomym mitologizowaniu, jak również re-sakralizowaniu opisywanej kobiecej sfery. Jej narratorzy znajdują się często na granicy fikcji i rzeczywistości, w swoistej sferze mistycznej. Postacie Tokarczuk nierzadko odwołują się do prastarych mitów, a w słowach ich rozpoznajemy stare kulturowe mitologiczne wzory i szablony.

Znamienne dla pisarstwa Tokarczuk jest też świadoma gra językowa z różnymi pojęciami z pola semantycznego “kobiecość”, jak choćby rozważania na temat braku żeńskich odpowiedników w języku polskim pojęć typu “mędrzec” czy “usynowić” – czy ma to być “ucórzenie?”²⁴ pyta przewrotnie pisarka, stwierdzając z goryczą: “Bóg usynowił człowieka”²⁵ oraz dodając ironicznie, że: “Żeński odpowiednik słowa ‘mędrzec’ to ‘mądrala.’”²⁶ Właśnie w sferze językowej mimikra Tokarczuk jawi się najwyraźniej, niestety, wszystkie te gry słowne są praktycznie rzecz biorąc nieprzetłumaczalne na inne języki. Stąd tego typu fragmenty zostały – z powodów niemożności oddania ich w danym języku – usunięte z tłumaczeń na język angielski, niemiecki czy szwedzki.

Można zapytać, dlaczego obie pisarki posługują się mimikrą tego typu? Patrząc na to z perspektywy polskiej historii i tradycji, gdzie silnie naładowana metafora

²³ Elzenberg, H., 1963, *Kłopot z istnieniem*, Kraków, s. 344.

²⁴ Tokarczuk, O., 1998, *Dom dzienny, dom nocny*, Wałbrzych s. 104.

²⁵ Ibidem.

²⁶ Ibidem, s. 112.

dotycząca miłości matczynej i miłości do ojczyzny – Matka-Polska – odgrywała zawsze i nadal odgrywa czołową rolę w kształtowaniu psychiki i obrazu kobiet polskich, nie powinno nas dziwić, że słowo emancypacja (nie mówiąc już o pojęciu feminizm) nadal znajduje się niemal na garnicy tabu. Jak słusznie zauważyła badaczka Maria Ciechomska, nieśmiałe próby kobiet wyzwolenia się spod tego jarzma tradycji przyjmowane były niemal jako zdrada narodowa.²⁷ Zanim trendy feministyczne zaczęły przenikać do Polski, nie dyskutowano nigdy problemu równouprawnienia między kobietami a mężczyznami.

Tu zatem należałoby szukać przyczyny nieufności i niechęci, z jaką większość polskich kobiet-pisarek tak zdecydowanie odcina się od feminizmu. “Feminizm jest nieodzowny w życiu codziennym, ale zabójczy dla sztuki” – powiedziała Goerke w udzielonym trzy lata temu wywiadzie dla szwedzkiej gazety.²⁸ “Pisanie nie powinno podlegać żadnej ideologii, ważny jest raczej stopień świadomości”²⁹ – stwierdziła Tokarczuk. Niezależnie bowiem od tego czy nowe trendy w literaturze współczesnej określimy jako feminocentryczne czy feministyczne – oba te określenia i tak stopią się w jedno pojęcie, obdarzone przez większość tradycyjnych odbiorców negatywnym ładunkiem. Świadome tego pisarki asekurują się zatem, odżegnując na wszelki wypadek w swych utworach od feminizmu. Nadal zatem nowe trendy we współczesnej prozie polskiej pióra kobiet wskazują bardziej na dystansowanie się większości pisarek wobec tradycyjnych norm niż na chęć stworzenia nowych wzorców literackich.

Nie ulega jednak wątpliwości, że utwory Goerke i Tokarczuk stanowią swoistą przeciwwagę literatury podporządkowanej patriarchalnym normom literackim. Strategie narracyjne i różne manewry ochronne stosowane przez pisarki świadczą jednak dobitnie o tym, jak trudna jest droga od dziedziczonej przez całe pokolenia uległości do wolności. Bo sporo jeszcze czasu musi upłynąć, nim dojdzie do poważniejszych zmian systemowych w kraju, gdzie obraz kobiety, tak w literaturze, jak i w życiu – ciągle jeszcze najchętniej jest widziany w kontekście wielkich narodowych wydarzeń historycznych i tradycyjnych norm kulturowych.³⁰

²⁷ Ciechomska, M., 1999, *Od matriarchatu do feminizmu*, Poznań, s. 316.

²⁸ Goerke, N., [w:] Lina Kalmteg, “Kvinnor – då måste det bli feminisim” [Jeśli kobiety – to koniecznie musi być o feminizmie], *Svenska Dagbladet* 2003-09-27; [tłum. z j. szwedzkiego moje – M.A.P].

²⁹ Tokarczuk, O., ibidem; [tłum. z j. szwedzkiego moje – M.A.P].

³⁰ Wiele z poruszonych tutaj kwestii omawiam szerzej w opublikowanym w j. szwedzkim artykule: Packalén, M.A., 2006, “Kvinnlig mimikry i modern polsk litteratur”, [w:] Tubielewicz Mattsson, D. & Gesche, J., (red.), 2006, *Gränsöverskridanden. En gåva till Ewa Teodorowicz-Hellman. Przekraczanie granic. Ewie Teodorowicz-Hellman w darze*, s. 203–214.

Ирония в тоталитарном и антитоталитарном советском дискурсе

За более чем свое семидесятилетнее существование советский политический язык претерпел целый ряд изменений. В первые годы после революции 1917 г. в языке появились сотни неологизмов, многие из которых стали ключевыми понятиями эпохи. Политический язык 1920-х гг. отличался эмоциональностью и образностью и одновременно обращался к логике читателей, что является характерными особенностями языка революции. На смену революции пришел период стабилизации, самостоятельность масс уступила место власти бюрократии. Этот процесс отразился и на формировании политического языка, из которого постепенно исчезали эмоциональность и образность. В то же время увеличивалась клишированность языка, а риторические приемы упрощались и унифицировались, что характерно для тоталитарного языка. Антитоталитарный дискурс, возникший как протест против тоталитарной системы и ее официального языка, нашел свое выражение в запрещенной литературе, но, прежде всего, в повседневной устной речи – анекдотах, частушках, пародиях или просто перифразах известных клише. Этот вид дискурса существовал на протяжении всего советского периода, но стал широко распространяться лишь в период оттепели. В сталинский период он не мог развиваться из-за всеобщего страха, поскольку любой словесный протест карался по статье 58–10 УК СССР об антисоветской деятельности. Обвинение по этой статье означало лишение свободы на длительный срок или даже высшую меру. После смерти Сталина статью уголовного кодекса не отменили, но на практике ее стали применять значительно реже. Послабление привело к широкому распространению жанра.

Процесс превращения языка революции в тоталитарный привлек внимание многих исследователей, особенно в последние десятилетия (Young 1991, Smith 1998, Romanenko 2000, Brooks 2001, Gorham 2003, Pöppel 2007). Появился и целый ряд словарей, в которых рассматриваются различные лексические аспекты тоталитарного и антитоталитарного советского политического дискурса (Земцов 1985, Баранов, Караулов 1991, 1994, Мокиенко, Никитина 1998, Гусейнов 2003).

Одним из риторических средств, позволяющим проследить процесс формирования официального политического языка и особенности антитоталитарного дискурса, является ирония. В исследовании иронии как языкового явления принято различать две области – иронию как стилистический прием и иронию как результат, т. е. ироничный смысл, который создается за счет использования различных лингвистических средств. Как стилистический прием ирония является выражением насмешки путем употребления слова в значении прямо противоположном его основному значению и с прямо противоположными коннотациями. В основе его – противопоставление прямых и переносных значений слов (Арнольд 1989, Гальперин 1958). В то же время понимание иронии и сама ее техника существенно изменились и усложнились. Ирония часто читается между строк, она может восприниматься на уровне одного или нескольких абзацев, а иногда и всего текста, т. е. представляет собой нечто большее, чем стилистический прием. Она является способом мировосприятия, мышления, т. е. создается средствами всех языковых уровней – лексическими, семантическими и синтаксическими (Muecke 1970). Предлагается также рассматривать иронию не как стилистический прием, а как иронический смысл, создающийся различными средствами языка (Походня 1989). Важно учитывать и наличие в данной культуре определенного кода, с помощью которого происходит ироническое осмысление. В тоталитарном дискурсе подобный код, как правило, не актуализуется, а в анти-тоталитарном он не только реализуется, но и является главным ключом к пониманию иронии. В зависимости от величины своего критического потенциала ирония бывает комической (если отрицание преобладает над согласием), юмористической (когда преобладает позитивное отношение к тезису) и саркастической (когда критик язвительно насмехается над тезисом, якобы одобряемым им). Для политического дискурса характерно использование саркастической иронии.

Способы образования иронии отличаются многообразием, например, контекст, обыгрывание омонимии, паронимии или многозначности слов, переосмысление стереотипных словосочетаний, клише, грубое преувеличение или явное противоречие, иронические сравнения, синтаксические средства (например, порядок слов, значение союзов, риторический вопрос и т. п.). Ассоциативная ирония реализуется при помощи таких средств, как повтор (лексический, структурный, стилистический), аллюзии, ироническое комментирование, цитирование широко известных текстов, зачастую неточное, ироническое смешение регистров и стилей речи, пародия (Кругосвет 2006).

По своей семантической природе ирония амбивалентна, ее использование позволяет обрести определенную дистанцию по отношению к описываемым

событиям. В политическом дискурсе интерпретация событий через призму иронии дает возможность более активного, независимого переосмысления событий, т. е. ее использование трудно совместимо с позицией обличающего, всезнающего автора, провозглашающего единственно верное видение событий. Использование иронии предполагает плюрализм в толковании событий, ориентацию читателя на более активное переосмысление политических событий, что характерно для демократического общества, где у читателя существует возможность выбора политических публикаций, по-разному освещающих одни и те же события. В такой ситуации между читателем и автором возникают диалогические отношения. В тоталитарном государстве диалогические взаимоотношения, по сути, не возникают. Читателю, лишенному выбора, отводится лишь роль объекта пропаганды, а автор либо неосознанно сообщает ему искаженную информацию, подогнанную под определенные идеологические рамки, либо сознательно дезинформирует читателя. Сама суть иронии как субъективности, противопоставляющей себя исторической объективности, противоречит концепту «массовости», характерному для тоталитарных систем. Наличие или отсутствие иронии в политическом дискурсе может свидетельствовать о степени тоталитарности в обществе.

Исходя из вышесказанного естественно предположить, что использование различных видов иронии и разнообразие способов образования характерно для языка революции, а ее постепенное исчезновение и упрощение форм является сигналом, свидетельствующим о превращении политического языка в тоталитарный. Это предположение будет проиллюстрировано на материале передовых статей *Правды*, являвшихся в течение всего советского периода образцом советского официального политического дискурса, на который равнялись остальные средства массовой информации. Примеры иронии отобраны из 184 передовых статей *Правды*, относящихся к шести периодам (март 1924, октябрь 1928, март 1933, октябрь 1939, октябрь 1949, март 1959). Кроме того, рассматриваются примеры антитоталитарного дискурса, в которых главным средством создания иронии являются легко узнаваемые клише тоталитарного языка, метонимически представляющие советский тоталитарный язык и всю советскую систему.

Стиль передовых статей *Правды* 1920-х гг. в целом отличается определенной образностью и эмоциональностью, эти особенности проявляются и в использовании иронии. В этот период она направлена только против *чужого* в оппозиции *свой – чужой*. Объектом иронии является внешний и внутренний враг – капитализм в целом и его представители и правая оппозиция в СССР. В примерах 1920-х гг. способы образования иронии разнообразны – кавычки, пунктуация, жирный шрифт, интонация, лексические и лексико-

морфологические средства, новые слова, метафора, анафора, контекст. Самым распространенным из них является кавычки:

На бирмингемском съезде «добрые, приличные люди» опять показали себя, оправдав целиком «высокое» доверие Черчиллей, Болдуинов и Моңдов. (5.10.28)

Фраза «*добрые, приличные люди*» является цитатой из выступления У. Черчилля, в котором он дал характеристику английским лейбористам. В данном примере ирония направлена на лейбористов и на самого Черчилля. В этом же предложении ирония используется три раза; дважды она маркируется с помощью кавычек, один раз фамилии врагов используются в метонимическом значении во множественном числе – *Черчилли, Болдуины и Моңды*.

В этот период встречаются и другие графические способы реализации иронии – знаки препинания и особенности шрифта, но они используются значительно реже кавычек, например:

Орган Юзефского «Пжеглонд Волински» даже после коммюнике Пат писал, подчеркивая истинный смысл последнего: «Украинский народ, как и всякий другой, имеет право на самостоятельное государственное существование и он раньше или позже своего добьется. Украина будет» (!?). (1.10.28)

В данном случае ирония маркируется с помощью восклицательного и вопросительного знаков, заключенных в скобки.

Примерами лексических средств являются титул *господин*, как правило, в сокращенной форме, превосходная степень и неологизмы:

Но вот Макдональд стал премьер-министром, а г. Артур Гендерсон министром внутренних дел в его кабинете. Оба они – выдающиеся лидеры «рабочей партии». Едва Артур Гендерсон заикнулся о необходимости пересмотра Версальского договора, как г. Макдональд тотчас же счел необходимым от имени правительства «дезаурировать», «поставить на место» своего коллегу. Г. Макдональд и в этом вопросе [...] пошел по более правому пути, чем либеральная буржуазия! (2.03.24)

Титул *господин* перед фамилиями лидеров лейбористской партии Англии используется пренебрежительно, сокращенная форма усиливает это значение. Другими маркерами иронии являются кавычки, интонация, восклицательный знак и контекст, в котором *выдающиеся, заикнулся и счел необходимым* звучат иронично.

Благороднейший рыцарь ордена королевской подвязки, Макдональд, бывший подлинным героем дня на бирмингемском съезде, вертевший делегатами съезда, как марионетками, назидательно разъяснил, что «Лига Наций не есть лига капиталистов» и потому ей должно быть обеспечено всяческое послушание. (5.10.28)

Ирония реализуется с помощью превосходной степени *благороднейший*, лексических маркеров *назидательно*, *всяческое*, кавычек и контекста.

насквозь «нафталинизированная» социал-демократия (25.10.28)

Нафталинизированный является словообразованием от имени социал-демократа Фрица Нафтали. Одновременно возникает ассоциация со словом *нафталин*, т. е. социал-демократия, *насквозь пропахшая нафталином*, что означает *ветхая, изжившая себя*.

Ирония часто создается с помощью метафоры, метонимии и фразеологизмов:

И если Броун мог бросить крылатую фразу о том, что вожди рабочей партии являются лишь «каретой скорой помощи для капитализма», то всякий английский рабочий вправе спросить Бруна: почему же он сам продолжает служить младшим кучером в этой карете? (5.10.28)

Карета скорой помощи и младший кучер в этой карете используются иронично.

Интонация не является распространенным средством образования иронии, но встречается в примерах 1920-х гг.:

Пусть утешается Румыния: Франция признала за ней территорию Бессарабии, как в свое время она признала громадные территории за правительством Колчака и за правительством Врангеля. Большую пользу принесли им эти признания. (14.03.24)

Пример является заключением статьи, в которой рассматривается вопрос присоединения Бессарабии к Румынии и дается негативная оценка данному событию. Поэтому в последнем предложении (*Большую пользу принесли им эти признания*), которое дополнительно выделяется красной строкой, возможна только ироничная интонация, иначе вся статья теряет смысл.

Особенностью примеров 1920-х гг. является то, что иронический смысл часто создается на уровне нескольких предложений, пассажей или даже целой статьи и реализуется разнообразными способами – лексическими, син-

таксическими, семантическими, графическими и т. д. В этих случаях речь идет скорее не об отдельном стилистическом приеме, а об ироническом смысле на уровне текста. Для усиления эмоциональности используется и двойное, т. е. избыточное маркирование одного и того же элемента, например, с помощью кавычек и метафоры. Частое использование иронии говорит и о том, что материал передовых статей представлен читателю не в форме готовой догмы, а в виде критического осмысления событий. С помощью иронии происходит, пусть и формально, остранение автора и читателя от описываемых событий, создается иллюзия анализа, допускающего некоторый плюрализм.

В примерах последующих периодов происходит ряд изменений. Начиная с 1933 г. изменяется объект иронии – исчезает внутренний враг, правая оппозиция, и появляется новый объект – недостатки в стране и конкретные виновники на низшем и иногда среднем уровне. Внешний враг, капитализм, остается на всем протяжении советского периода. В статьях 1939 г. частота использования иронии, по сравнению с предыдущими периодами, уменьшается, а способы образования унифицируются. В примерах конца 1950-х гг. способы образования сводятся, в основном, к кавычкам и контексту.

В статьях 1930-х–1950-х гг. самым распространенным способом образования иронии являются кавычки:

3, 14, 19, 21 и 27 августа посвящены интенсивной бюрократической переписке с обеих сторон, причем явный саботажник Макаров чувствует себя в положении лектора, который заочно объясняет Миرونнову «пользу самозаготовок». Когда же «ученик» отказывается понимать «лекцию», Макаров с бесцеремонностью заявляет, что не выполнит приказа. (30.10.33)

В примере говорится о недостатках работы Пермской железной дороги. Одновременно используются контекст и инвектива *явный саботажник*.

образование боннского «правительства» в Западной Германии; «успокоительные» заявления правительства не только никого не успокаивают, но дают даже буржуазным экономистам повод для горькой иронии (15.10.49)

В приведенных примерах врагом является правительство Западной Германии и его действия.

При этом в подтверждение своих гнилых, предельческих рассуждений он ссылаясь на... «труды» иностранных специалистов. (13. 10.49)

Ирония направлена на директора Белово-Салаирского комбината Кемеровской области Гайворонского, отказавшегося увеличить выпуск продукции. Она реализуется с помощью кавычек и многоточия. В 1949 г. в разгар сталинских кампаний против космополитизма пример скорее является утрашением для остальных, поскольку читателю сразу становится понятно, чем грозит такое упоминание в передовой *Правды*.

Спрашивается, где были КК–РКИ, когда в районе творились подобные безобразия? (14.10.33)

А что сделали с начальником службы эксплуатации т. Абуашвили? Ничего! Он по-прежнему задерживает вагоны, как ни в чем не бывало. (26.10.33)

Ирония образуется с помощью лексических средств (*спрашивается*), сравнения (*как ни в чем не бывало*), интонации, восклицательного знака и инвективы (*безобразия*).

Что же получается? Передовые шахты и участки значительно перевыполняют задания, общие цифры выглядят хорошо, и руководителей Сталинского совнархоза это, видимо, вполне устраивает. (7.03.59)

В примере используются вводное слово *видимо*, наречие *воплне* и интонация.

Слова и фразы типа *впрочем, весьма, пресловутый, с позволения сказать, так называемый, конечно, изрядный, этакий, что-то, видите ли, оказывается, как бы* встречаются в статьях всех периодов:

Совершенно незаметно такой, с позволения сказать, начальник теряет бразды правления и превращается из большевистского руководителя в подставного дурака. (30.10.33)

В Грозном явно недостаточна партийно-политическая работа среди нефтяников и что-то не видно серьезных мер к ее усилению со стороны Чечено-Ингушского обкома партии. (21.10.39)

В этом было основное содержание пресловутой мюнхенской политики. (11.10.49)

В примерах 1930-х–1950-х гг. часто используются идиома и клише:

Общие директивы по бесконечному числу адресов (как бы кого-нибудь не обойти) сыплются точно из рога изобилия. (30.10.33)

Идиома *сыпаться из рога изобилия* используется иронично. На иронию также указывает контекст и лексический маркер *как бы*.

Верные лакеи международного капитала дашнаки установили в Армении режим зверского террора. (20.10.39)

В данном примере клише *лакеи международного капитала* используется презрительно.

Подавляющее большинство депутатов – или сами капиталисты, или чиновники, находящиеся в услужении у миллионеров и миллиардеров. (1.03.59)

Находиться в услужении или *прислужники капитализма* – клише, часто используемые для характеристики представителей капитализма в пренебрежительном значении.

В статьях 1930-х–1950-х гг. использование иронии, как правило, ограничивается рамками одного предложения, а маркеры унифицируются. Ассоциативная ирония и иронический смысл на уровне текста встречаются, в основном, в статьях 1933 г., в последующие периоды они становятся исключением:

Мысли, руководившие тов. Зубило, когда он сочинял приказ, достойны похвалы. Он, видимо, решил, что пора, наконец, ликвидировать безответственность железнодорожников, преступно-небрежно относящихся к народному добру. По сему поводу, чтобы другим было не повадно, приказ об увольнении вывешивается даже на стенке. Но не повезло приказу: он так и остался благим намерением незатейливого администратора и никакого впечатления ни на Сочихина, ни на других рабочих не произвел. Как ни в чем не бывало, Сочихин и по сей день работает машинистом и ездит даже на им же разбитом паровозе. (30.10.33)

В одном контексте используются фразы, резко отличающиеся друг от друга по стилю, что создает ироничный смысл. Так, *достойны похвалы, по сему поводу, так и остался благим намерением* противопоставляются *ликвидировать безответственность, преступно небрежно относящихся к народному добру, незатейливый администратор*. Для создания иронии используется также интонация.

В примерах 1930-х–1950-х гг. постепенно исчезает образность и эмоциональность, наблюдается явная тенденция к упрощению и унификации язы-

ка, что свидетельствует о постепенном превращении языка революции в тоталитарный.

Процесс ритуализации официального советского политического языка прослеживается и в развитии анти тоталитарного дискурса. Часто повторяющиеся, «набившие оскомину» фразы и структурные элементы, как правило, параллельно используются и в анти тоталитарном дискурсе, но в пародиях, анекдотах, перифразах они становятся предметом насмешки. Говоря о взаимоотношении языка и власти, Ролан Барт (Barthes 1978) заметил, что выходом из этого порочного круга является только одна возможность – плутовать с языком, дурачить его. В этом процессе плутовства ирония явилась главным риторическим средством. По выражению Бенедикта Сарнова (2005, 12), ирония «стала противоядием, ослабившим вредоносное действие на наши души советского новояза».

Поскольку материалом для анализа тоталитарного языка являются передовые статьи газеты *Правды*, в качестве примера анти тоталитарного дискурса рассматривается одна из пародий на этот жанр, написанная в 1960-е гг. – песня Юлия Кима «Передовая статья в газету» (1967):

Все улицы как будто стали краше
И солнце как бы входит в каждый дом:
Сегодня все трудящиеся наши (и не наши)
Испытывают радостный подъем!

Рабочие, крестьяне, инженеры,
Покинувши заводы и жнивье,
Интеллигенты и милиционеры
Единство демонстрируют свое!

Они идут с плакатами, с цветами,
На них костюмы новые, видать.
Давно уже расстались мы с цепями, –
Нам, слава Богу, есть чего терять!

...Теперь добавьте что-нибудь про космос,
Чего-нибудь про радостный рассвет,
Потом поставьте собственную подпись
И тут же отнесите в ту-, в ту-, в ту-...
В комитет!

Песня является пародией на ритуальную передовую статью, посвященную празднованию 1 мая. К концу 1950-х гг. сложился стереотип написания таких статей по строго заданному образцу. В тексте песни встречаются следующие обязательные тематические и структурные элементы передовой статьи:

- Упоминание о демонстрации и фраза *сегодня все трудящиеся наши... единство демонстрируют свое*. Такое начало является обычным для ритуальной передовой статьи.
- Использование метафоры весны. В тексте присутствуют ее составные элементы – солнце, цветы и радостное настроение.
- Перечисление достижений. В песне говорится о покорении космоса и упоминается о достижениях в сельском хозяйстве и промышленности (*покинули заводы и жнивье*). В передовых статьях 1960-х гг. тема покорения космоса была обязательной. В этот период в Советском Союзе был выработан стойкий стереотип о мировом лидерстве в области освоения космоса¹.
- Упоминание о радостном рассвете в заключении, т. е. о создании светлого будущего. Ритуальные статьи, посвященные празднованию 1 мая или 7 ноября, обычно заканчивались на этой ноте.

Лексической основой стихотворения являются клише советского политического языка – *сегодня все трудящиеся; испытывают радостный подъем, триада рабочие, крестьяне, инженеры; демонстрируют единство; радостный рассвет, солнце входит в каждый дом*. Фраза *давно уже растались мы с цепями, нам, слава Богу, есть чего терять!* является перифразом ставшей классической цитаты Маркса и Энгельса из «Манифеста коммунистической партии»: *Пролетариям нечего в ней (революции) терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир*. Такая насыщенность клише уже является ироничной, но каждый пример дополнительно иронически обыгрывается. Ирония реализуется с помощью различных средств. Лексические маркеры *как будто* и *как бы* создают эффект ненастоящего, искусственного, игрушечного. Все как бы соблюдают правила известной игры и делают вид, что все «по-настоящему». Ироничным является использование книжной формы дее-

¹ Ср. превратившийся в крылатую фразу припев из песни Юрия Визбора «Рассказ технолога Петухова» (1964):

Зато мы делаем ракеты,
Перекрываем Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей!

причастия *покинувши*, вместо *покинув*, просторечной формы *видать*, местоимений *что-нибудь* и *чего-нибудь* и фразы *слава Богу*. В группу трудящихся включаются не только *наши*, но и *не наши*, т. е. трудящиеся капиталистических стран, и происходит обыгрывание ключевой антитезы советского политического дискурса *свой – чужой*. Ирония создается и за счет смешения различных стилей – элементы литературного русского языка чередуются с элементами просторечия и с устаревшими формами. В результате перифраза цитаты Маркса создается новый ироничный смысл – благосостояние трудящихся настолько возросло, что пролетариям уже есть что терять. Последние две строки являются заключительным и самым важным этапом в ритуале написания передовой статьи – в них говорится об обязательном утверждении статьи партийным комитетом соответствующего уровня. Само по себе упоминание этого момента, о котором всегда умышленно замалчивалось, является ироничным. Но главным в этих строчках является намек на другое ключевое слово, которое не называется, но явно напрашивается в контексте песни после трехкратного повторения *в ту- – туалет*. Фраза *отнести в комитет* становится эвфемизмом, используемым вместо *отнести в туалет*. До появления туалетной бумаги использование старых газет по этому назначению было широко распространено во многих странах, но в Советском Союзе бумага в рулонах появилась гораздо позже и всегда была предметом дефицита. В 1960-е гг. использование газет вместо туалетной бумаги было обычным. Намек на туалет вызывает ассоциацию и с другой, прочно вошедшей в лексикон фразой – *подтереться газетой*, часто встречающейся и сегодня. Она всегда используется иронично, презрительно и означает бессмысленность, ненужность информации, сообщаемой в газете, а иногда и бессмысленность самой газеты. Таким образом, в двух последних строчках дается оценка передовым статьям советских газет 1960-х, давно потерявших связь с реальностью и бесконечно клонирующих одни и те же клише.

Появление пародий на советскую печать в 1960-е гг. свидетельствует о степени ритуализации официального политического языка. Ироничное использование структурных элементов и клише советского политического языка в антитоталитарном дискурсе позволяет выявить наиболее ритуализованные элементы официального языка данного периода, а высокая частота их использования в антитоталитарном языке свидетельствует и о том, что степень клишированности достигла максимума на всех языковых уровнях.

Литература

Barthes, R. 1978. *Leçon: leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France*. Paris: Seuil,

- Brooks, J. 2000. *Thank you, comrade Stalin!: Soviet public culture from Revolution to Cold War*. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
- Gorham, M. S. 2003. *Speaking in Soviet tongues: language culture and the politics of voice in revolutionary Russia*. DeKalb, Ill.: Northern Illinois University Press.
- Muecke, D. C. 1970. *Irony*. London: Methuen.
- Pöppel, L. 2007. *The rhetoric of Pravda editorials: a diachronic study of a political genre*. Stockholm: Stockholm University.
- Smith, M. 1998. *Language and power in the creation of the USSR, 1917–1953*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Young, J. W. 1991. *Totalitarian language: Orwell's Newspeak and its Nazi and Communist antecedents*. Charlottesville, Virginia: University Press of Virginia.
- Арнольд, И. В. 1981. *Стилистика современного английского языка: стилистика декодирования*. Л.: Просвещение.
- Баранов, А. Н., Караулов, Ю. Н. 1991. *Русская политическая метафора (материалы к словарю)*. М.: Помовский и партнеры.
- Баранов, А. Н., Караулов, Ю. Н. 1994. *Словарь русских политических метафор*. М.: Помовский и партнеры.
- Гальперин, И. Р. 1958. *Очерки по стилистике английского языка*. М.: Изд-во литературы на иностранных языках.
- Гусейнов, Г. Ч. 2003. *Д.С.П.: материалы к Русскому словарю общественно-политического языка конца XX в.* М.: Три квадрата.
- Земцов, И. Г. 1985. *Советский политический язык*. London: Overseas Publications Interchange
- «Ирония». 2005, 2006. В: *Энциклопедия Кругосвет*. <http://www.krugosvet.ru/articles/76/1007618/1007618a1.htm>, 25.03.2008.
- Мокиенко, В. М., Никитина, Т. Г. 1998. *Толковый словарь языка Совдепии*. СПб.: Фолио-пресс.
- Походня, С. И. 1989. *Языковые виды и средства реализации иронии*. Киев: Наук. думка.
- Романенко, А. П. 2003. *Советская словесная культура: образ ратора*. М.: УРСС.
- Сарнов, Б. М. 2005. *Наш советский новояз: Маленькая энциклопедия реального социализма*. М.: Эксмо.

Studier i språk och litteratur från Umeå universitet
Umeå Studies in Language and Literature

Publicerade av Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
Published by the Department of Language Studies, Umeå University

Redaktion/Editors: Heidi Hansson, Per Ambrosiani

1. Elena Lindholm Narváez, *'Ese terrible espejo.' Autorrepresentación en la narrativa sobre el exilio del Cono Sur en Suecia*. Diss. 2008.
2. Julian Vasquez (ed.), *Actas del Simposio Internacional "Suecia y León de Greiff (1895–1976)"*. 2008.
3. Dorothea Liebel, *Tageslichtfreude und Buchstabenangst. Zu Harry Martinsons dichterischen Wortbildungen als Übersetzungsproblematik*. Diss. 2009.
4. Dan Olsson, *„Davon sagen die Herren kein Wort“. Zum pädagogischen, grammatischen und dialektologischen Schaffen Max Wilhelm Götzingers (1799–1856)*. Diss. 2009.
5. Ingela Valfridsson, *Nebensätze in Büchern und Köpfen. Zur Bedeutung der Begriffsvorstellungen beim Fremdsprachenerwerb*. Diss. 2009.
6. Per Ambrosiani (ed.), *Swedish Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists (Ohrid, 10–16 September 2008)*. 2009.

Skrifter från moderna språk (2001–2006)

Publicerade av Institutionen för moderna språk, Umeå universitet
Published by the Department of Modern Languages, Umeå University

1. Mareike Jendis, *Mumins wundersame Deutschlandabenteuer. Zur Rezeption von Tove Janssons Muminbüchern*. Diss. 2001.
2. Lena Karlsson, *Multiple Affiliations: Autobiographical Narratives of Displacement by US Women*. Diss. 2001.
3. Anders Steinvall, *English Colour Terms in Context*. Diss. 2002.
4. Raoul J. Granqvist (ed.), *Sensuality and Power in Visual Culture*. 2002. NY UPPLAGA 2006.
5. Berit Åström, *The Politics of Tradition: Examining the History of the Old English Poems The Wife's Lament and Wulf and Eadwacer*. Diss. 2002.
6. José J. Gamboa, *La lengua después del exilio. Influencias suecas en retornados chilenos*. Diss. 2003.

7. Katarina Gregersdotter, *Watching Women, Falling Women. Power and Dialogue in Three Novels by Margaret Atwood*. Diss. 2003.
8. Thomas Peter, *Hans Falladas Romane in den USA*. Diss. 2003.
9. Elias Schwieler, *Mutual Implications: Otherness in Theory and John Berryman's Poetry of Loss*. Diss. 2003.
10. Mats Deutschmann, *Apologising in British English*. Diss. 2003.
11. Raija Kangassalo & Ingmarie Mellenius (red.), *Låt mig ha kvar mitt språk*. Den tredje SUKKA-rapporten. / *Antakaa minun pitää kieleni*. Kolmas SUKKA-raportti. 2003.
12. Mareike Jendis, Anita Malmqvist & Ingela Valfridsson (Hg.), *Norden und Süden. Festschrift für Kjell-Åke Forsgren zum 65. Geburtstag*. 2004.
13. Philip Grey, *Defining Moments: A Cultural Biography of Jane Eyre*. Diss. 2004.
14. Kirsten Krull, *Lieber Gott, mach mich fromm ... Zum Wort und Konzept „fromm“ im Wandel der Zeit*. Diss. 2004.
15. Maria Helena Svensson, *Critères de figement. L'identification des expressions figées en français contemporain*. Diss. 2004.
16. Malin Isaksson, *Adolescentes abandonnées. Je narrateur adolescent dans le roman français contemporain*. Diss. 2004.
17. Carla Jonsson, *Code-switching in Chicano Theater: Power, Identity and Style in Three Plays by Cherríe Moraga*. Diss. 2005.
18. Eva Lindgren, *Writing and Revising: Didactic and Methodological Implications of Keystroke Logging*. Diss. 2005.
19. Monika Stridfeldt, *La perception du français oral par des apprenants suédois*. Diss. 2005.
20. María Denis Esquivel Sánchez, *“Yo puedo bien español”. Influencia sueca y variedades hispanas en la actitud lingüística e identificación de los hispanoamericanos en Suecia*. Diss. 2005.
21. Raoul J. Granqvist (ed.), *Michael's Eyes. The War against the Ugandan Child*. 2005.
22. Martin Shaw, *Narrating Gypsies Telling Travellers: A Study of the Relational Self in Four Life Stories*. Diss. 2006.